

Николай Лесков

Печерские антики



Николай Семёнович Лесков Печерские антики

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175384*

Содержание

Глава первая	8
Глава вторая	9
Глава третья	14
Глава четвертая	18
Глава пятая	21
Глава шестая	25
Глава седьмая	29
Глава восьмая	33
Глава девятая	36
Глава десятая	39
Глава одиннадцатая	42
Глава двенадцатая	45
Глава тринадцатая	48
Глава четырнадцатая	50
Глава пятнадцатая	54
Глава шестнадцатая	57
Глава семнадцатая	60
Глава восемнадцатая	65
Глава девятнадцатая	69
Глава двадцатая	71
Глава двадцать первая	73
Глава двадцать вторая	76
Глава двадцать третья	80

Глава двадцать четвертая	84
Глава двадцать пятая	88
Глава двадцать шестая	95
Глава двадцать седьмая	104
Глава двадцать восьмая	108
Глава двадцать девятая	111
Глава тридцатая	114
Глава тридцать первая	120
Глава тридцать вторая	122
Глава тридцать третья	128
Глава тридцать четвертая	133
Глава тридцать пятая	137
Глава тридцать шестая	146
Глава тридцать седьмая	150
Глава тридцать восьмая	153
Глава тридцать девятая	157
Глава сороковая	163
Глава сорок первая	167

Николай Лесков
Печерские антики
(Отрывки из юношеских
воспоминаний)

Старинный характер и бибииковские преобразования. – Нечто о Карасивне и Пиднебесной и об акафисте «матери Кукурузе». – Печерский Кесарь и его импровизации. – Стремление войска уйти в поход против Вылезария. – Легенда о бибииковской теще и о всепомогающем докторе. – Способ обращать верхние зубы в нижние. – Квартальный-антикварий. – Наезд Виньоля. – Старей. Малафей Пимыч и отрок Гиезий. – Порча отрока человечинной. – Открытие моста. – Аскоченский в поэтическом восторге. – Альфред фон Юнг: его опечатки и его поэзия. – Анекдоты с конным немцем и с отцом Строфокамилом. – Малафеево стояние. – Неисполнившееся откровение. – Старцева смерть – отрокова женитьба. – Мир в тропаре. – Два дворянина. – Исключительный священник. – Тайна Троицкой церкви. – Нечто о «Запечатленном ангеле».

Мне убо, возлюбленнии, желательно
есть вспомянути доброе житие крепких
мужей и предложити вашей любви слово
нехитроречивое, но истиною украшенное.
Вам же любезно да будет слышати добрые
повести о мужах благостных.

**Из предисловия к повести «Об отцах и
страдальцах»**

Глава первая

Расскажу нечто про киевских оригиналов, которых я знал в дни моей ранней юности и которые, мне кажется, стоят внимания, как личности очень характерные и любопытные. Но вначале да позволено мне будет сказать два слова о себе. Они необходимы для того, чтобы показать, где и как я познакомился с «печерским Кесарем», с которого я должен начать мою киевскую галерею антиков.

Глава вторая

Меня в литературе считают «орловцем», но в Орле я только родился и провел мои детские годы, а затем в 1849 году переехал в Киев.

Киев тогда сильно отличался от нынешнего, и разница эта заключалась не в одной внешности города, но и в нравах его обитателей. Внешность изменилась к лучшему, то есть город наполнился хорошими зданиями и, так сказать, оевропеился, но мне лично жаль многого из старого, из того, что сглажено и уничтожено, может быть, несколько торопливою и во всяком случае слишком бесцеремонною рукою Бибикова. Мне жаль, например, лишённого жизни Печерска и облежавших его урочищ, которые были застроены как попало, но очень живописно. Из них некоторые имели также замечательно своеобразное и характерное население, жившее неодобрительною и даже буйною жизнью в стародавнем запорожском духе. Таковы были, например, удалые Кресты и Ямки, где «мешкали бессоромные дівчата», составлявшие любопытное соединение городской, культурной проституции с казаческим простоплетством и хлебосольством. К этим дамам, носившим не европейские, а национальные малороссийские уборы, или так называемое «про-

стое платье», добрые люди хаживали в гости с своею «горілкою, с ковбасами, с салом и рыбицею», и «крестовские дівчатки» из всей этой приносной провизии искусно готовили смачные снеди и проводили с своими посетителями часы удовольствия «по-фамильному».

Были из них даже по-своему благочестивые: эти открывали свои радушные хаты для пиров только до «благодатной», то есть до второго утреннего звона в лавре. А как только раздавался этот звон, казачка крестилась, громко произносила: «радуйся, благодатная, господь с тобою» и сейчас же всех гостей выгоняла, а огни гасила.

Это называлось «досидеть до благодатной».

И гости – трезвые и пьяные – этому подчинялись.

Теперь этого оригинального типа непосредственной старожилкой киевской культуры с запорожской заправкой уже нет и следа. Он исчез, как в Париже исчез тип мюзаровской гризеты, с которою у киевских «крестовых дівчат» было нечто сходственное в их просто-сердечии.

Жаль мне тоже живописных надбережных хаток, которые лепились по обрывам над днепровской кручей: они придавали прекрасному киевскому пейзажу особенный теплый характер и служили жилищем для большого числа бедняков, которые хотя и получили

какое-то вознаграждение за свои «поламаные дома», но не могли за эти деньги построить себе новых домов в городе и слепили себе гнезда над кручею. А между тем эти живописные хаточки никому и ничему не мешали. Их потом опять разметала властная рука Бибикова. Жаль превосходнейшей аллеи рослых и стройных тополей, которая вырублена уже при Анненкове для устройства на ее месте нынешнего увеселительного балагана с его дрянными развлечениями. Но всего более жаль тихих куртин верхнего сада, где у нас был свой лицей. Тут мы, молодыми ребятами, бывало проводили целые ночи до бела света, слушая того, кто нам казался умнее, – кто обладал бульшими против других сведениями и мог рассказать нам о Канте, о Гегеле, о «чувствах высокого и прекрасного» и о многом другом, о чем теперь совсем и не слышать речей в садах нынешнего Киева. Теперь, когда доводится бывать там, все чаще слышишь только что-то о банках и о том, кого во сколько надо ценить на деньги. Любопытно подумать, как это настроение отразится на нравах подрастающего поколения, когда настанет его время действовать...

Нравы, собственно говоря, изменились еще более, чем здания, и тоже, может быть, не во всех отношениях к лучшему. Перебирать и критиковать этого не будем, ибо «всякой вещи свое время под солнцем»,

но пожалеть о том, что было мило нам в нашей юности, надеюсь, простительно, и кто, подобно мне, уже пережил лучшие годы жизни, тот, вероятно, не осудит меня за маленькое пристрастие к тому старенькому, серому Киеву, в котором было еще очень много простоты, ныне совершенно исчезнувшей.

Я зазнал этот милый город в его дореформенном виде, с избытком деревянных домиков, на углах которых тогда, впрочем, были уже вывешены так называвшиеся «бибиковские доски». На каждой такой доске была суровая надпись: «сломать в таком-то году».

Этих несчастных, обреченных на сломку домиков было чрезвычайно много. Когда я приехал в Киев и пошел его осматривать, то «бибиковские доски» навели на меня неожиданную грусть и уныние. Смотришь — чистенькие окошечки, на них горшочки с красным перцем и бальзаминами, по сторонам пришпилены белые «фиранки», на крышах воркуют голуби, и в глубине двориков хлопотливо кудахчут куры, и вдруг почему-то и зачем-то придут сюда какие-то сторонние люди и всё это разломают... Для чего это? И куда денутся, куда тогда пойдут эти люди, которым, по-видимому, довольно удобно и хорошо живется за их белыми «фиранками»? Может статься, что все это было необходимо, но тем не менее отдавало каким-то неприятно бесцеремонным и грубым самовластием.

Бибиков, конечно, был человек твердого характера и, может быть, государственного ума, но, я думаю, если бы ему было дано при этом немножко побольше сердца, – это не помешало бы ему войти в историю с более приятным аттестатом.

Старый город и Печерск особенно щедро были изукрашены «бибиковскими досками», так как здесь должно было совершиться и в весьма значительной степени и совершилось намеченное Бибиковым капитальное «преобразование». А на Печерске жил самый непосредственный из киевлян, про которых я попробую здесь для начала рассказать, что удержала моя память.

Глава третья

Я с приезда поселился на Житомирской улице, в доме бывшего секретаря комиссариатской комиссии Запорожского (тоже в своем роде антика), но, совершенно одинокий и предоставленный самому себе, я постоянно тяготел к Печерску, куда меня влекли лавра и пещеры, а также и некоторое еще в Орле образовавшееся знакомство.

Печерские знакомцы мои были молодые родственники некогда чем-то знаменитого в Киеве Николая Семеновича Шиянова.

К тому времени, когда я приехал в Киев, старик Шиянов уже не жил на свете, и даже о былом его значении ничего обстоятельного не говорили; так я, собственно, и до сих пор не знаю, чем и в каком роде был знаменит Шиянов; но что он был все-таки знаменит – этому я всегда верил так же православно, как приял это в Орле от его родственников, увлекших меня обольстительными рассказами о красоте Киева и о поэтических прелестях малороссийской жизни.

Я остаюсь им за это всегда благодарным.¹

¹ Со временем потомство, может статься, не в силах будет составить себе ясное понятие даже и о таких достопримечательных личностях Киева, как, например, Карасивна и Пиднебесная, за знаменитыми булка-

Наследники Шиянова были тогда уже в разброде и в захудалости. Когда-то значительные капиталы старика были ими торопливо прожиты или расхищены, о чем ходили интересные сказания в духе французской истории наследства Ренюпонов. От всего богатства остались только дома.

Это были престранные дома – большие и малые, все деревянные; они были настроены тут в таком множестве, что образовали собою две улицы: Большую Шияновскую и Малую Шияновскую.

Обе Шияновские улицы находились там же, где, вероятно, находятся и теперь, то есть за печерским базаром, и по всей справедливости имели право считаться самыми скверными улицами в городе. Обе они были немощеные – каковыми, кажется, остаются и до настоящего времени, но, вероятно, теперь они

ми которых бегал на Подол весь город. Все это происходит от аристократизма наших хроникеров и летописцев. Впрочем, эти полезные деятельности, помнится, названы в одном из вариантов «акафиста матери кукурузе», который был сложен студентами Киевской духовной академии, как протест против дурного стола и ежедневного почти появления на нем кукурузы в пору ее созревания. «Акафист Кукурузе» начинался так: «Бысть послан комиссар (помощник эконома) на базар рыбы купити, узрев же тя кукурузу сущу возпи гласом велиим и рече: „Радуйся, кукурузо, пище презельная и пресладкая, радуйся, кукурузо, пище ядомая и николи же изьядаемая, радуйся, кукурузо, отцом ректором николи же зримая, радуйся, и инспектором николи же ядомая“ и т. д. Там где-то было и о Карасивне с Пиднебесною, после которых уже нет таких пекарок в Киеве» (*прим. Лескова*).

немножко выровнены и поправлены. В то же время, к которому относятся мои воспоминания, они находились в привилегированном положении, которое делало их во все влажное время года непроезжими. По каким-то геологическим причинам, они были ниже уровня базарной площади и служили просторнымместищем для стока жидкой черноземной грязи, которая образовала здесь сплошное болото с вонючими озерами. В этих озерах плавали «шияновские» гуси и утки, которым было здесь очень привольно, хотя, впрочем, они часто сильно страдали от вползавших им в нос дрянных зеленоватых пиявок. Чтобы защитить птиц от этого бедствия, им смазывали клювы «свяченой оливой», но и это верное средство не всегда и не всем помогало. Утята и гусята от пиявок дошли.

По вечерам здесь, выставив наружу голову, пели свои антифоны очень крупные и замечательно басистые лягушки, а звонкоголосые молодячки канонархали. Иногда они все – молодые и старые, всем собором выходили на бережки и прыгали по бугорочкам. Это заменяло барометрическое указание, ибо предвещало ясную погоду.

Словом, картина была самая буколическая, а между тем в двух шагах отсюда был базар, и притом базар очень завозный и дешевый. Благодаря этому послед-

нему обстоятельству здешняя местность представляла своего рода удобства, особенно для людей небогатых и неприхотливых.

Впрочем, она также имела свои особенные удобства для домохозяев еще в отношении полицейском, которое в Киеве тогда смешивали с политическим.

Глава четвертая

Большие и малые дома Шиянова, со множеством надворных флигельков и хаточек, приспособленных кое-как к житью из старинных служебных построек, давно уже сдавались внаймы и, несмотря на свою ветхость, все были обитаемы.

Постройки все подряд были очень ветхи и стояли, по-видимому, аридовы веки. Доски с надписями, которыми «строго воспрещалось» чинить эти дома и были указаны сроки их сломке, красовались на их углах, но дома упорно избегали определенной им злой участи, и некоторые из них едва ли не уцелели до настоящего времени.

Во мнении жителей шияновские дома охраняла от «бибиковского разорения» одна необычайная личность, создавшая себе в то время героическую репутацию, которая, казалось бы, непременно должна перейти в легенду. Быстрое забвение подобных вещей заставляет только поникнуть головою перед непрочностью всякого земного величия.

Легендарная личность был артиллерии полковник Кесарь Степанович Берлинский, на сестре которого, кажется, Клавдии Степановне, был женат покойный Шиянов.

Таких людей, как Кесарь Степанович, нет уже более не только в Киеве, но, может быть, и во всей России. Пусть в ней никогда не переводятся и, вероятно, вперед не переведутся антики, но «печерский Кесарь» дважды повторен быть не может.

Сказать, что Берлинский «управлял» домами Шиянова, было бы, кажется, не точно, потому что управлял ими, по выражению Берлинского, «сам господь бог и Николай угодник», а деньги с квартирантов собирала какая-то дама, в конторскую часть которой не вмешивались ни господь бог, ни его угодник и даже ни сам Кесарь Степанович. Этот герой Печерска, как настоящий «Кесарь», только господствовал над местностью и над всеми, кто, живучи здесь, обязан был его знать. Кесарь Степанович нравственно командовал жильцами обеих Шияновских улиц и вообще всею прилегающею областью за базаром. Всех он содержал в решпекте и всем умел давать чувствовать свое авторитетное военное значение. Слово «*момент*», впоследствии основательно истасканное нашими военными ораторами, кажется, впервые было пущено Берлинским и с его легкой руки сделалось необходимым подспорьем русского военного красноречия.

При случае Берлинский готов был оказать и иногда действительно оказывал нуждающимся свое милостивое отеческое заступление. Если за кого нужно

было идти попросить какое-либо начальство, печерский Кесарь надевал свой военный сюртук без эпюлет, брал в руки толстую трость, которую носил на правах раненого, и шел «хлопотать». Нередко он что-нибудь и выпрашивал для своих protégé, действуя в сих случаях на одних ласкою, а на других угрозою. Существовало убеждение, что он может всегда «писать к государю», и этого многие очень боялись. Младших же «чиновалов», говорили, будто он иногда убеждал даже при содействии своей трости, per argumentum baculinum.² Последнее он допускал, впрочем, не по свирепости нрава, а «по долгу верно-подданничества», единственно для того, чтобы не часто беспокоить государя письмами.

На базаре Берлинского все знали и все ему повиновались, не только за страх, но и за совесть, потому что молва громко прославляла «печерского Кесаря», и притом рисовала его в весьма привлекательном народно-героическом жанре.

² Палочным аргументом (*лат.*).

Глава пятая

Берлинский смолоду был молодец и писанный красавец в тогдашнем гвардейском роде; таким же он оставался до старости, а может быть и до самой кончины, которая последовала, если не ошибаюсь, в 1864 или 1865 году. В жизнь свою он видел не одни красные дни, а перенес немало нужды, горя и несправедливостей, но, обладая удивительною упругостью души, никогда не унывал и выворачивался из положений самых трудных средствами самыми смелыми и подчас даже невероятными и отчаянными.

Сердца Кесарь Степанович был, кажется, доброго и в свою меру благородного, а также он был несомненно чувствителен к чужому горю и даже нежен к несчастным. Он не мог видеть равнодушно ничьего опоздания, чтоб тотчас же не возмущаться духом и не обнаруживать самых горячих и искренних порывов помочь страдающему. По мере своих сил и разумения он это и делал. Характер Берлинский имел очень смелый, решительный и откровенный, но несколько с хитринкой. Знавшие его смолоду уверяли, что ранее хитрости в нем будто не было, но потом, впоследствии, несправедливость и разные суровые обстоятельства заставили его понемножечку лукавить. Впрочем, в его

устах и во лбу светило некоторое природное лукавство. Берлинский был самый большой фантазер, какого мне удавалось видеть, но фантазировал он тоже не без расчета, иногда очень наивного и почти всегда безвредного для других. Соображал он быстро и сочинял такие пестрые фабулы, что если бы он захотел заняться сочинительством литературным, то из него, конечно, вышел бы любопытный сочинитель. Вдобавок к этому, все, что Кесарь раз о себе сочинил, это становилось для самого его истиною, в которую он глубоко и убежденно верил. Вероятно, оттого анекдотические импровизации «печерского Кесаря» производили на слушателей неотразимо сильное впечатление, под влиянием которого те досочиняли еще большее. Кесарь Степанович умел вдохновлять и умел поставить себя так, что во всех отношениях – и чином и значением – стоял во мнении Печерска несравненно выше настоящего.

По моему мнению, он был только храбрый и, вероятно, в свое время очень способный артиллерии полковник в отставке. По крайней мере таким я его зазнал в Орле, через который он «вез к государю» зараз восемь или десять (а может быть, и более) сыновей. Тогда он был во всей красе мужественного воина, с георгиевским крестом, и поразил меня смелостию своих намерений. Он ехал с тем, чтобы «выставить» где-

то всех своих ребят государю и сказать:

– Если хочешь, чтобы из них тебе верные слуги вышли, то бери их и воспитай, а мне их кормить нечем.

Мы все, то есть я и его орловские племянники (сыновья его сестры Юлии Степановны), недоуменно спрашивали:

– Неужели вы так и скажете: *ты, государь?*

А он отвечал:

– Разумеется, так и скажу, – и потом прибавил, будто это непременно так даже и следует говорить и будто государь Николай Павлович «так любит».

Нас это просто поражало.

Кормить детей Берлинскому действительно было нечем. Он очень нуждался, как говорили, будто бы по причине его какой-то отменной честности, за которую он, по его собственным рассказам, имел «кучу врагов около государя». Но он не унывал, ибо он очень уж смело рассчитывал на самого императора Николая Павловича. Смелость эта его и не постыдила: с небольшим через месяц Кесарь Степанович опять проследовал из Петербурга в Киев через Орел уже совсем один. Государь велел принять в учебные заведения на казенный счет «всю шеренгу» и увеличил будто бы пенсию самого Берлинского, а также велел дать ему не в зачет какое-то очень значительное пособие. Кроме принятия детей, все остальное было как-то в

тумане.

В рассказе об упомянутом сейчас событии я и познакомился впервые с импровизаторством этого необыкновенного человека, которое потом мне доставляло много интересных минут в Киеве.

Многое множество из его грандиозных рассказов я позабыл, но кое-что помню, хотя теперь, к сожалению, никак не могу рассортировать, что слышал непосредственно от него самого и что от людей ему близких и им вдохновенных.

Глава шестая

По словам Кесаря Степановича, которым я, впрочем, не смею никого обязывать верить без критики, он встретил государя где-то на почтовой станции.

– Сейчас же, – говорит, – я упросил графа Орлова дозволить мне стоять с детьми на крылечке, и стал. Ребят построил в шеренгу мал мала меньше, а сам стал на конце в правом фланге.

Государь как вышел из коляски на крыльцо, заметил мой взвод и говорит:

– Это что за ребята?

А я ему отвечаю:

– Это мои дети, а твои будущие слуги, государь.

Тогда Николай Павлович взглянул, будто, на Берлинского и сейчас же его узнал.

– А-а! – говорит, – Берлинский! – Это ты, братец?

– Точно так, – говорю, – ваше величество, это я.

– Очень рад тебя видеть. Как поживаешь?

– Благословляю провидение, что имею счастье видеть ваше величество, а поживание мое очень плохо, если не будет ко мне твоей милости.

Государь спросил:

– Отчего тебе плохо? Ты мне хорошо служил.

– Овдовел, – отвечал Берлинский, – и вот детей у

меня целая куча; прикажи, государь, их вскормить и выучить, а то мне нечем, я беден, в чужом доме живу, и из того Бибиков выгоняет.

Государь, говорит, сверкнул глазами и крикнул:

– Орлов! определить всех детей Берлинского на мой счет. Я его знаю: он храбрый офицер и честный.

А потом, будто, опять оборотился к Кесарю Степановичу и добавил:

– За что тебя Бибиков выгоняет?

– Дом, – говорю, – где я живу, под крепость разломать хочет.

Государь, будто, ответил:

– Вздор; дом, где живет такой мой слуга, как ты, должен быть сохранен в крепости, а не разломан. Я тебя хорошо знаю, и у меня, кроме тебя и Орлова, нет верных людей. А Бибикову скажи от моего имени, чтобы он тебя ничем не смел беспокоить. Если же он тебя не послушается, то напиши мне страховое письмо, – я за тебя заступлюсь, потому что я тебя с детства знаю.

Почему государь Николай Павлович мог знать Берлинского «с детства» – этого я никогда не мог дознаться; но выходило это у Кесаря Степановича как-то складно и статочно, а притом и имело любопытное продолжение.

Когда государь сам, будто, напомнил о столь давнем знакомстве «с детства», то Берлинский этим сей-

час же воспользовался и сказал:

– Да, ваше величество, это справедливо: вместе с вами играли, а с тех пор какая разница: вы вот какую отменную карьеру изволили совершить, что теперь всем миром повелеваете и все вас трепещат, а я во всем нуждаюсь.

А государь ему на это, будто, ответил:

– Всякому, братец, свое назначение: мой перелет соколиный, а ты воробей не робей – приди ко мне в Петербург во дворец, я тебя хорошим пайком устрою.

Берлинский будто бы ходил во дворец, и результатом этого был тот паек или «прибавок» к пенсии, которым «печерский Кесарь» всех соседей обрадовал и сам очень гордился. Однако и с прибавкою Берлинский часто не мог покрывать многих, самых вопиющих нужд своей крайне скромной жизни на Печерске. Но так как все знали, что он «имеет пенсию с прибавком», то «Кесарь» не только никогда не жаловался на свои недостатки, а, напротив, скрывал их с большою трогательностью.

Порою, сказывали, дело доходило до того, что у него не бывало зимою дров и он буквально стыл в своей холодной квартире, но уверял, что это он «так любит для свежести головы».

Цифры своей пенсии Берлинский как-то ни за что не объявлял, а говорил, что получает «много», но мо-

жет получать и еще больше.

– Стоит мне написать страховое письмо государю, – говорил он, – и государь сейчас же прикажет давать мне, сколько я захочу, но я не прошу более того, что пожаловано, потому что у государя другие серьезные надобности есть.

Глава седьмая

Если верить сказаниям, то государь Николай Павлович, будто, очень грустил по разлуке с Берлинским и даже неутешно жалел, что не может оставить его при себе в Петербурге. Но, по рассказам судя, пребывание Берлинского в столице и действительно было совершенно неудобно: этому мешала слишком большая и страстная привязанность, которую питали к пещерскому Кесарю «все солдаты».

Они так его любили, что ему нигде, будто, нельзя было показаться: как солдаты его увидят, сейчас перестают слушать команду и бегут за ним и кричат:

– Пусть нас ведет отец наш полковник Берлинский, – мы с ним и Константинополь возьмем, и самого победоносного полководца Вылезария на царский смотр в цепях приведем.

Доходило это, по рассказам, до таких ужасных беспорядков, что несколько человек за это были даже, будто, расстреляны, как нарушители дисциплины, и тогда Берлинскому самому уже не захотелось в Петербурге оставаться, да и граф Чернышев прямо, будто, сказал государю:

– Как вашему величеству угодно, а это невозможно есть: или пусть Берлинский в Петербурге не живет,

или надо отсюда все войска вывести.

Государь, будто, призвал Кесаря Степановича и сказал:

– Так и так, братец, мне с тобою очень жаль расстаться, но ты сам видишь, что в таком случае можно сделать. Я тобою очень дорожу, но без войск столицу тоже оставить нельзя, а потому тебе жить здесь невозможно. Ступай в Киев и сиди там до военных обстоятельств. В то время я про тебя непременно вспомню и пошлю за тобой.

А «лысый Чернышев» так его торопил выездом, что только несколько дней дозволил ему пробить в Петербурге, но и тут не обошлось без больших затруднений, имевших притом роковые последствия.

Это, по рассказам, было, будто, именно в тот год, когда в Петербурге, на Адмиралтейской площади, сгорел с народом известный балаган Лемана.

Балаган сгорел с народом, стало быть, во время представления, но, по вине самого импровизатора или благовестников его славы, на сей раз выходило что-то немножко нескладно: дело, будто, происходило ночью.

Берлинский, будто, тогда стоял на квартире в Гороховой улице, у одной немочки, и дожидался бритвенного прибора, который заказал по своему рисунку одному англичанину. У них в родстве было много лиц, от-

личавшихся необыкновенным умом и изобретательностью, и один племянник Берлинского, будто, такие бритвы выдумал, что они могли брить превосходно, а обрезаться ими никак нельзя.

Англичанин взялся эти бритвы исполнить, да не хорошо по рисунку сделал и опять стал переделывать. А лысый граф Чернышев, которому неприятно было, что Берлинский все еще в Петербурге живет, ничего этого в расчет взять не хотел. Он уже несколько раз присылал дежурного офицера узнать, скоро ли он выедет.

Берлинский, разумеется, дежурного не боялся и отвечал: «Пусть ваш лысый граф не беспокоится и пусть, если умеет, сам Вылезария в плен берет, а я только моего особенного прибора дожидаясь, и как англичанин мне прибор сделает, так я сейчас же выеду и буду, где государю угодно, век доживать да пещерских чудотворцев за него молить, чтобы ему ничего неприятного не было. А пока мои бритвы не готовы, я не поеду. Так лысому от меня и скажите».

Чернышев не смел его насильно выслать, но опять прислал дежурного сказать, чтобы Берлинский днем не мог на улице показываться, чтобы солдат не будоражить, а выходил бы для прогулки на свежем воздухе только после зари, когда из пушки выпалят и всех солдат в казармах запрут.

Берлинский отвечал:

– Я службу так уважаю, что и лысому повинуюсь.

После этого он, будто, жил еще в Петербурге несколько дней, выходя подышать воздухом только ночью, когда войска были в казармах, и ни один солдат не мог его увидеть и за ним бегать. Все шло прекрасно, но тут вдруг неожиданно и подвернулся роковой случай, после которого дальнейшее пребывание Кесаря в столице сделалось уже решительно невозможным.

Глава восьмая

Идет один раз Кесарь Степанович, закрыв лицо шинелью, от Красного моста к Адмиралтейству, как вдруг видит впереди себя на Адмиралтейской площади «огненное пламя». Берлинский подумал: не Зимний ли дворец это горит и не угрожает ли государю какая опасность... И тут, по весьма понятному чувству, забыв все на свете, Берлинский бросился к пожару.

Прибегает он и видит, что до дворца, слава богу, далеко, а горит Леманов балаган, и внутри его страшный вопль, а снаружи никого нет. Не было, будто, ни пожарных, ни полиции и ни одного человека. Словом, снаружи пустота, а внутри стоны и гибель, и только от дворца кто-то один, видный, рослый человек, бежит и с одышкой спотыкается.

Берлинский воззрися в бегущего и узнал, что это не кто иной, как сам государь Николай Павлович.

Скрываться было некогда, и Кесарь Степанович стал ему во фронт как следует.

Государь ему, будто, закричал:

– Ах, Берлинский! тебя-то мне и надобно. Полно вытягиваться, видишь, никого нет, беги за пожарными.

Кесарь Степанович, будто, ответил:

– Пожарные тут, ваше императорское величество,

никуда не годятся, а дозволейте скорее призвать артиллерию.

Государь изволил его спросить:

– Зачем артиллерию?

А он, будто, ответил:

– Затем, что тут *надо схватить момент*. Деревянного балагана залить трубами нельзя, а надо артиллерией *в один момент* стену развалить, и тогда сто или двести человек уьем, а зато остальной весь народ сразу высыпется (вот еще когда и при каком случае, значит, говорено военным человеком о значении *момента*).

Но государь его не послушался – ужасно ему показалось сто человек убить; а потом, когда балаган сгорел, тогда изволил, будто, с сожалением сказать:

– А Берлинский мне, однако, правду говорил: все дело было в моменте, и надо было его послушаться и артиллерию пустить. Но только все-таки лучше велеть ему сейчас же выехать, а его бритвенный прибор послать ему в Киев по почте на казенный счет.

Сделано это последнее распоряжение было в таком расчете, что если бы при Берлинском случился в Петербурге другой подобный острый момент, то все равно нельзя было бы артиллерию вывести потому, что все солдаты и с пушками за ним бы бросились, чтобы он вел их пленять Вылезария.

Так этим и заключилась блестящая пора служебной карьеры Кесаря Степановича в столице, и он не видел государя до той поры, когда после выставил перед его величеством «свою шеренгу», а потом вернулся в Киев с пособием и усиленную пенсию, настоящую цифру которой, как выше сказано, он постоянно скрывал от непосвященных и говорил коротко, что «берет много», а может взять еще больше.

– Стоит только государю страховое письмо написать.

Мне кажется, что он искренно верил, что имеет дозволение вести с государем переписку, и, бог его знает, может быть и в самом деле ему что-нибудь в этом роде было сказано, если не лично государем, то кем-нибудь из лиц, через которых Кесарь Степанович устроил детей и получил свою прибавку.

Во всяком случае это куражило старика и давало ему силу переносить весьма тяжелые лишения с непоколебимым мужеством и внушающим достоинством.

Глава девятая

Так Берлинский и старелся, отменно преданный государю и верный самому себе во всем и особенно в импровизаторстве. А когда он стал очень стар и во всех отношениях так поотстал от современности, что ему нечего было сочинять о себе, то он перенес задачи своей импровизации на своего племянника (много школьного товарища) доктора, имя которого было Николай, но так как он был очень знаменит, то этого имени ему было мало, и он назывался «*Николавра*». Здесь значение усиливалось звуком *лавра*. Николай это было простое имя, как бывает простой монастырь, а *Николавра*— это то же самое, что лавра среди простых монастырей.

Кесарь Степанович рассказывал удивительнейшие вещи о необычайных медицинских знаниях и талантах этого очень много учившегося, но замечательно несчастливого врача и человека с отменно добрым и благородным сердцем, но большого неудачника.

Опять и тут я не помню многого и, может быть, самого замечательного, но, однако, могу записать один анекдот, который объясняет, в каком духе и роде были другие, пущенные в обращение для прославления Николавры.

Шел один раз разговор о зубных болях – об их жестокой неутолимости и о неизвестности таких медицинских средств, которые действовали бы в этих болях так же верно, как, например, хинин в лихорадках или касторовое масло в засорениях желудка и кишок.

В обществе было несколько молодых в тогдашнее время врачей, и все согласно утверждали, что таких универсальных средств действительно нет, – что на одного больного действует одно лекарство, на другого – другое, а есть такие несчастные, на которых ничто не действует, «пока само пройдет».

Вопрос очень специальный и неинтересный для беседы людей непосвященных, но чуть к нему коснулся художественный гений Берлинского, – произошло чудо, напоминающее в мале источение воды из камня в пустыне. Крылатый Пегас-импровизатор ударил звонким копытом, и из сухой скучной материи полилась сага – живая, сочная и полная преинтересных положений, над которыми люди в свое время задумывались, улыбались и даже, может быть, плакали, а во всяком случае тех, кого это сказание касается, прославили.

Кесарь Степанович опротестовал медицинское мнение и сказал будто, что универсальное средство против зубной боли есть и что оно изобретено именно его племянником, доктором Николаврою, и одному ему, Николавре, только и известно. Но средство

это было такое капризное, что, несмотря на всю его полезность, оно могло быть употребляемо не всяким и не во всех случаях. Медикамент этот, утолявший, будто, всякую боль, можно было употреблять только в размере одной капли, которую нужно было очень осторожно капнуть на больной зуб. Если же эта капля хоть крошечку стечет с зуба и коснется щеки или десен, то в то же самое время человек мгновенно умирает. Словом, опасность страшная! И выходило так, что нижние зубы этим лекарством можно было лечить, потому что на нижние можно осторожно капнуть, но если заболели верхние, на которые капнуть нельзя, то тогда уже это лекарство бесполезно.

Было ужасно слушать, что есть такое спасительное изобретение и оно в значительной доле случаев должно оставаться неприложимым. Но Кесарь Степанович, владея острым умом и решительностью, нашел, однако, средство, как преодолеть это затруднение, и усвоил для медицинской науки «перевертошный способ», которым до тех пор зубоврачебная практика не пользовалась. Этот этюд был известен между нами под названием «Берлинского анекдота о биби-ковской теще».

Глава десятая

Жила-была, будто, «бибиковская теща», дама «полнищая и преогромная», и приехала она, будто, на лето к себе в деревню, где-то неподалеку от Киева. В Киев ей Бибиков въезжать не позволял «по своему характеру», потому что он «насчет женского сословия заблуждался и с тещею не хотел об этом разговаривать, чтобы она его не стала стыдить летами, чином и убожеством» (так как у него одна рука была отнята).

Несчастливая «полная дама» так и жила, будто, в деревне, и пошла, будто, она один раз с внучками в лес гулять, и нашла на кусте орешника орех-двойчатку, и обрадовалась, что счастье удвоится, и захотела раскусить. Внучки говорят ей:

– Не кусай, бабушка, двойчатку – у тебя зубки стары.

А бибиковская теща отвечает:

– Нет, раскушу, – мне счастья удвоится.

Орехи она разгрызла, но только после этого у нее сейчас же зубы заныли и до того ее доняли, что она стала кричать: «Лучше убейте меня, потому что это все удваивается и стало совсем невозможно вытерпеть». А у нее был управитель очень лукавый, и он ей говорит: «Чем если убивать – за что отвечать придется».

ся, то лучше дозвольте я вам из Киева всепомогающего лекаря привезу: он из известной шияновской родни – и всякую зубную боль в одну минуту унять может».

Бибиковская теща про Шияновых много хорошего слышала и отвечает: «Привези, но только как возможно скорей».

Управитель, чтобы не произошло никакой медленности, сейчас же собрался и, даже не евши, уехал.

Вечером он из имения выехал, а рано на заре стал уже в Киеве на дымящихся и вспененных конях посреди печерского базара, а дальше тут уже не знал куда ехать: по Большой или по Малой Шияновской, и закричал во все горло:

– Где тут всепомогающий лекарь Николавра, который во всякой зубной боли вылечивает?

(По причине большой известности этого доктора, фамилия его никогда не произносилась, а довольно было одного его имени «Николавра», которое было так же славно, как, например, имя Абеляр.)

Чумаки, которые стали тут с вечера и спали на своих возах с пшеном и салом и с сухою таранью, сейчас от этого крика проснулись и показали управителю:

– Годи тебе кричать, – говорят, – вот туточка сей лекарь живет, тільки що він тепер, як и усе християнство, спочивае.

Управитель побежал по указанию и заколотил о за-

пертые ставни.

Оттуда ему кричат:

– Кто се такій, и чого вам треба?

А он отвечает:

– Отчиняйте скорей, або я все окна побью, – мне надо всепомогающего лекаря Николавру, который всякую боль излечивает. Здесь он или нет, а то я должен дальше скакать его разыскивать.

Управителю говорят:

– Никуда вам скакать дальше не треба, потому что всепомогающий доктор Николавра здесь живет, но он теперь, як и усе христіанство, спит. А вы майте соби трохи совісти, и если в господа бога веруете, то не колотайте так крепко, бо наш дом старенький, еще не за сих времен, и шибки из окон повыскакують, а тут близко ни якого стекольщика нет, а теперь зима лютая, и с малыми детьми смерзти можно.

Рассказывалось именно так, что при этом переговоре было упоминаемо про «зиму» и про «холод», и читатель не должен смущаться, что дело происходило во время летнего наезда бибииковской тещи в свое имение. Вскоре мы опять увидим, вместо скучной и лютой зимы, веселое знойное лето.

Глава одиннадцатая

Управитель бибииковской тещи был человек горделивый, потому что, по необразованности своей, считал, как и другие многие, будто государь Бибиикову Киев все равно как в подарок подарил и что потому все, кто тут живет, ему, будто, принадлежат вроде крепостных и должны всё делать.

– Велика важность, – говорит, – ваши окна! Я от бибииковской тещи приехал за лекарем, и подавай мне лекаря.

Ему отворили двери и привели его к самому Николаву.

Тот – лихой молодчина был и хотя такой ученый, что страшно все понимал, но церемониться ни с кем не любил.

Как ему сказали, что от бибииковской тещи управитель пришел, он говорит:

– Приведите его ко мне в спальню. Если он во мне надобность имеет, то может меня и без панталон во всяком виде рассматривать.

Управитель пришел и рассказывает, а лекарь Николава на него и внимания не обращает: лежит под одеялом да коленки себе чешет. А когда тот кончил, лекарь только спросил:

– А в каком строю у нее зуб болит, в верхнем или в нижнем?

Управитель отвечает:

– Я ей в зубы не глядел, а полагаю, что, должно быть, болит в строю в *верхнем*, потому что у нее опухоль под самым глазом.

Тогда Николавра завернулся к стене и говорит:

– Прощай и ступай вон.

– Что это значит?

– То значит, что если боль в верхнем строю, то мне там делать нечего: я верхних зубов лечить не могу.

Управитель говорит:

– Да вам-то не все ли равно лечить, что верхний зуб, что нижний? Все равно, – говорит, – кость окостенелая, что тот, что этот, одно в них естество, одно повреждение и одно лекарство.

Но лекарь на него посмотрел и говорить не стал.

Тот спрашивает:

– Что же, отвечайте что-нибудь.

Тогда лекарь дал ему такой ответ:

– Я, – говорит, – могу разговаривать с равным себе по науке, а это не твоего дело ума, чтобы я с тобою стал разговаривать. Ты управитель, и довольно с тебя – имением и управляй, а не в свое дело не суйся. Людей лечить это не то что навоз запахивать. Медицине учатся. А тебе сказано, что я в нижнем строю все могу

вылечить, а до верха моим спасительным лекарством дотронуться нельзя.

– Но через что же такое? – вопит управитель.

– А через то, что она в ту же минуту «окочурится» и мне за нее отвечать придется; а я моей репутацией дорожу, потому что я очень много учился.

Управитель как услышал, что она может «окочуриться», еще больше стал просить лекаря, чтоб непременно ехал, а тот рассердился, вскочил, вытолкал его в шею и опять лег ночь досыпать.

Тут в это дело и вступился везде находчивый Кесарь Степанович.

Глава двенадцатая

Увидал он, что племянник, хотя, по его словам, и умен и в своем медицинском деле очень сведущ, а недостает ему еще настоящей тактики и практики, и молодой его рассудок еще не очень находчив, как себе большую славу сделать.

Кесарь Степанович, прослушав весь их разговор из своей комнаты, сейчас встал с постели, надел туфли и тулупчик и с трубкой вышел в залу, по которой проходил изгнанный лекарем управитель. Увидал он его и остановил, – говорит:

– Остановись, прохожий, никуда не гожий, и объясни мне своей рожей, не выйдя из прихожей: на чем ты сюда приехал, и есть ли там третье сидение, чтобы еще одного человека посадить.

Управляющий очень рад, что с ним такой известный человек заговорил, и отвечает, что у него есть четверо-местная коляска, и он может не одного, а даже двух людей поместить.

Кесарь Степанович дал ему щелчка в лоб и говорит:

– Ты спасен, и твое дело сделано: я сейчас к племяннику взойду и совет ему дам. Николавра меня послушается, и мы переговорим и, может быть, все вме-

сте поедем. Я ему один способ покажу, как можно верхние зубы в нижний ряд поставить, и тогда на них черт знает чем можно накапать.

– А ты, – прибавляет, – только скажи мне: очень ли она мучится?

Управитель отвечает:

– Уж совсем замучилась и на весь дом визжит.

– То-то, – говорит Кесарь Степанович, – мне это знать надо, потому что моим способом с ней круто придется обращаться – по-военному.

Управитель отвечает:

– Она военных даже очень уважает и на все согласится, потому что у нее очень болит.

– Хорошо, – сказал Кесарь Степанович и пошел к племяннику. Там у них вышел спор, но Кесарь Степанович все кричал: «не твое дело, за всю опасность я отвечаю», и переспорил.

– Ты, – говорит, – бери только свое спасительное лекарство и употребляй его по своей науке, как следует, а остальное, чтобы верхние зубы снизу стали – это мое дело.

Лекарь говорит:

– Вы забываете, какого она звания, – она обидится.

А Кесарь Степанович отвечает:

– Ты молод, а я знаю, как с дамами по-военному обращаться. Верь мне, мы ей на верхний зуб капнем,

и она нам еще книксен присядет. Едем скорее – она мучится.

Лекарь было стал еще представлять, что капнуть на верхний зуб нельзя, а она может после Бибикову жаловаться, но тут Кесарь Степанович его даже постыдил.

– Ты ведь, – говорит, – кажется, не простой доктор, а учил две науки по физике, и понять не можешь, что тут надо только *схватить момент*, и тогда все можно. Не беспокойся. Это не твое дело: ты до нее не будешь притрогиваться, а мне Бибиков ничего сделать не смеет. Ты, кажется, мне можешь верить.

Племянник поверил дяде и говорит:

– В самом деле, при вас я не боюсь, а между прочим мне это вперед для таковых же случаев может пригодиться.

Оделся, положил пузыречек со своим лекарством в жилетный карман, и без дальних рассуждений все они втроем покатали на верхний зуб капать.

Управитель все ехал и думал: непременно она у них очочурится!

Глава тринадцатая

Скакали путники без отдыха целый день, и зато вечером, в самое то время, когда стадо гонят, приехали на господский двор, а зубы если когда разболятся, то к вечеру еще хуже болят.

Бибиковская теща ходит по комнатам, и сама преогромная, а плачет как маленькая.

– Мне очень стыдно, – говорит, – этак плакать, но не могу удержаться, потому что очень через силу болит.

Кесарь Степанович сейчас же с ней заговорил повоенному, но ласково.

– Это, – говорит, – даже к лучшему, что вам так больно болит, потому что вы должны скорее на все решиться.

А она отвечает:

– Ах, боже мой, я уже и решилась. Что вы хотите, то и делайте, только бы мне выздороветь и в Париж для развлечения уехать.

– В таком разе, – говорит Берлинский, – мы должны кое-что сделать... По-французски это называется «повертон». После через пять минут можете в Париж ехать.

Она удивилась и вскричала:
Неужели через пять минут?!

Берлинский говорит:

– Что мною сказано, то верно.

– В таком разе, хоть не знаю, что такое «повертон», но я на все согласна.

– Хорошо, – говорит Берлинский, – велите же мне поскорее подать два чистые носовые платка и хорошую крепкую пробку из сотерной бутылки.

Та приказала.

– И еще, – говорит Кесарь Степанович, – одно условие: прикажите сейчас, чтобы все, кто тут есть, ваши родные и слуги ваши ни во что не смели вступаться, пока мы свое дело кончим.

– Все, – говорит, – приказываю: мне лучше умереть, чем так мучиться.

Словом, больная безусловно предалась в их энергические руки, а тем временем Кесарю и Николавре подали потребованные платки и пробку из сотерной бутылки.

Глава четырнадцатая

Кесарь Степанович пробку осмотрел, погнул, подавил и сказал: «Пробка хороша, а платки надо переменить: батистовые, – говорит, – не годятся, а надо самые плотные полотняные».

Ему такие и подали. Он сложил их оба с угла на угол, как складывают, чтобы зубы подвязывать, и положил на столик; а бибииковской теще говорит:

– Ну те-ка, что-нибудь заговорите.

Она спрашивает:

– Для чего это нужно?

А Берлинский ей отвечает:

– Для того, чтобы *схватить первый момент*.

А сам ей в эту самую секунду сотерную пробку в рот и вставил. Так ловко вставил ее между зубами, что бибииковской теще ни кричать и ни одного слова выговорить нельзя при такой распорке.

Удивилась она, и испугалась, и глазами хлопает, а чем больше старается что-то спросить, тем только крепче зубами пробку напирает. А Кесарь Степанович в это же острое мгновение улыбнулся и говорит ей: «Вот только всего и нужно», – а сам ей одним платком руки назад связал, а другим внизу платье вокруг ног обвязал, как делают простонародные девушки, когда

салятся на качели качаться. А потом крикнул племяннику:

– Теперь лови второй момент!

И сейчас же ловко, по-военному, перевернул даму вниз головою и поставил ее в угол на подушку теменем. От этого находчивого оборота, разумеется, вышло так, что у нее верхние зубы стали нижними, а нижние – верхними. Неприятно, конечно, было, но ненадолго – всего на одну секунду, потому что лекарь, как человек одной породы с дядею – такой же, как дядя, ловкий и понятливый, сейчас же «схватил момент» – капнул каплю даме на верхний зуб и сейчас же опять ее перевернул, и она стала на ногах такая здоровая, что сотерную пробку перекусила и говорит:

– Ах, мерси, – мне все прошло; теперь блаженство! чем я могу вас отблагодарить?

Кесарь Степанович отвечал:

– Я не врач, а военный, а военные во всех несчастьях дамам так помогают, а денег не берут.

Бибиковская теща расспросила о Кесаре Степановиче: кто он такой и на каком положении у государя, и когда узнала, что он отставной, но при военных делах будет опять призван, подарила ему необыкновенного верхового коня. Конь был что-то вроде Сампсона: необычайная сила и удаль заключались у него в необычайных волосах, и для того он был с удиви-

тельным хвостом. Такой был огромный хвост, что если конь скакал, то он сзади расстилался как облако, а если шагом пойдет, то концы его на двух маленьких колесцах укладывали, и они ехали за конем, как шлейф за дамой.

Только удивительного коня этого нельзя было ввести в Киев, а надо было его где-то скрывать, потому что он был самый лучший на всем Орловском заводе и Бибикову хотелось его иметь, но благодарная теща сказала: «На что он ему? Какой он воин!» – и подарила коня Берлинскому, с одним честным словом, чтобы его в «бибиковское царство» не вводить, а содержать «на чужой стороне».

Кесарь Степанович ногою шаркнул, «в ручку поцеловал», и коня принял, и честное слово свое сдержал.

Об этом коне в свое время было много протолковано на печерском базаре. Собственными глазами никто это прекрасное животное никогда не видал, но все знали, что он вороной без отметин, а ноздри огненные, и может скакать через самые широкие реки.

Теперь, когда пересказываешь это, так все кажется таким вздором, как сказка, которой ни минуты нельзя верить, а тогда как-то одни смеялись, другие верили, и все было складно.

Печерские перекупки готовы были клясться, что этот конь жил в таинственной глубокой пещере в Бро-

варском бору, который тогда был до того густ, что в нем еще водились дикие кабаны. А стерег коня там старый москаль, «хромой на одно око». В этом не могло быть ни малейшего сомнения, потому что москаль приходил иногда на базар и продавал в горшке табак «прочухрай», от которого как понюхаешь, так и зачи-хаешь. Ввести же коня в Киев нельзя было «по причине Бибика».

Исцеление тещи имело, однако, и свои невыгодные последствия, если не для Кесаря Степановича, то для всепомогающего врача, и виною тому была малообразованность публики. Когда дамы узнали об этом исцелении способом «повертона», так начали притворяться, что у них верхний зуб болит, и стали осаждать доктора, чтобы и над ними был сделан «повертон». Они готовы были злоупотреблять этим до чрезвычайности. Николавра им внушал, что это дело серьезное и научное, а не шутка, но они всё не отставали от него с просьбами «перевернуть их и вылечить». Происходило это более оттого, что Николавра дам очень смешил и они в него влюблялись в это время без памяти. А он, будучи очень честен, не хотел расстраивать семейную жизнь во всем городе и предпочел совсем оставить и Киев и медицинскую практику. Так он и сделал.

Глава пятнадцатая

Разумеется, вся «причина Бибика», о которой выше сказано, была чистейший плод быстрой и сложной фантазии самого печерского импровизатора или его восторженных почитателей. На самом же деле Бибиков не только не гнал и ни за что не преследовал занимательного полковника, но даже едва ли не благодетельствовал ему, насколько к тому была склонна его жесткая и мало податливая на добро натура. Кажется, Бибиков был даже чем-то полезен Берлинскому в устройстве его детей и вообще никогда на него не напал, хотя, по весьма странной любви к сплетням и наушничеству, он знал очень многое о том, что Берлинский на его счет импровизировал. Вполне возможно, что иногда скучавший Бибиков им даже немного интересовался, конечно, только ради смеха и потехи.

В Киеве в то время проживал академик С.-Петербургской академии художеств, аквалерист Михаил Макарович Сажин. Он составлял для Дмитрия Гавриловича акварельный альбом открытых при нем киевских древностей и не раз, бывало, сказывал, что Бибиков шутил над своею зависимостью от Берлинского. Особенно его забавляло, что «безрукий» мимо его домов даже *ездить боится*.

Бибиков и в самом деле, говорят, никогда не проезжал по Шияновским улицам, но, разумеется, не потому, чтобы ему был страшен Берлинский, а потому, что тут невозможно было проехать, не затопнув или по крайней мере не измаравшись. Кесарь Степанович или вдохновенные им почитатели давали этому свое толкование, которое им гораздо более нравилось, а для Кесаря имело притом свои выгоды. Все эти легенды и басни значительно возвышали авторитет «галицкого воина», который никого не боится, между тем как его все боятся, и «даже сам Бибик».

Так как независимые люди всегда редки и всякому интересны, то Кесарь Степанович пользовался у многих особенною любовью, и это выражалось своеобразным к нему поклонением. Думали, что он очень много может защитить; а это, в свою очередь, благоприятно отражалось на делах шияновских развалин, которые Бибиков, по словам Сажина, называл «шияновскими нужниками», но зато их не трогал – может, в самом деле из какого-нибудь доброго чувства к Берлинскому. Людям робким, равно как и людям оппозиционного образа мыслей было лестно жить в этих «нужниках» или «в одном кольце» с таким вдохновительным героем, как Кесарь Степанович. А как притом к чистоте и благоустройству обиталищ у нас относятся довольно нетребовательно, то эти дрянные раз-

валины были постоянно обитаемы. Между невзыскательными жильцами здешних мест встречалось немало тогдашних «нелегальных», то есть таких, у которых были плохи пашпортишки. Они были уверены, что, будто, имеют в лице Кесаря Степановича могущественного защитника. Думали, чуть, храни бог, встретится какое-нибудь несчастье или притеснение от полиции, то Кесарь Степанович заступится. А главное, что полиция сюда не ходила. Вероятно, не хотела, чтобы про нее было что-нибудь написано государю. Это обыкновенно имелось в виду при найме квартир, и нетребовательный жилец переезжал в шияновские развалины с приятным убеждением, что здесь хоть и «худовато, да спокойно».

Глава шестнадцатая

Дорожа «спокойностью», в шияновские закутки набиралась всякая нищета и мелкота, иногда очень характерная и интересная.

Аристократию составляли захудалое армейское офицерство и студенты-медики пятого курса, которым надо было ходить в клиники военного госпиталя. Эти были менее всех искательны насчет покровительства и протекции, но Кесарь Степанович, впрочем, и им иногда сулил свои услуги.

– Люблю молодежь, – говорил он и сейчас же, вздохнув, прибавлял: – но зато, спасибо им, и они меня любят. Бедные ребятки, понимают, что безрукий совсем готов бы их затеснить, да не смеет – боится...

Боялся он, разумеется, страхового письма.

Студенты, впрочем, к полковнику за содействием не обращались и даже слегка над ним подтрунивали или просто его избегали.

Иногда встречались такие, которым и сам Кесарь Степанович и его защитительная предупредительность казались очень подозрительными. Думали, будто он может служить Богу и мамону... Но «серый жилец», то есть публика из простолюдинов, и особенно староверы, которым в тогдашнее сердитое время

приходилось очень жутко, питали к нему безграничное доверие.

Эти отношения мне представлялись тогда очень странными, и я никак не мог понять, происходило ли это доверие к Кесарю от большого практического ума или от неразумения. Но так или иначе, а репутация дома все-таки на этом выигрывала, и теперь это вспоминается мило и живо, как веселая старая сказка, под которую сквозь какую-то теплую дрему свежо и ласково улыбается сердце...

Люди нынешнего банковского периода должны нам простить романтическую чепуху нашего молодого времени. Явным противоречием между словом и поступками Берлинского было то, что, беспредельно храбрый в своих импровизациях, он в практических делах с властями был очень предусмотрителен и, может быть, даже искателен. Так, например, считая Бибикова не только не выше себя, но даже несколько ниже, по крайней мере в том отношении, что он мог писать о нем что угодно государю, Кесарь Степанович иногда надевал мундир и являлся «в Липки» к Бибикову. Политиканы, склонные к обобщениям, придавали этому большое значение и подозрительно истолковывали такие визиты в неблагоприятном смысле; но всего вероятнее полковника заводила к генерал-губернатору просто нужда, в которой Бибиков ему, мо-

жет быть, помогал из обширных средств, находившихся в его безотчетном распоряжении. Простолюдины же толковали это совсем иначе и получали выводы прекрасные; они говорили:

– Наш-то, батюшка, воин-то наш галицкий, Кесарий Степанович, опять пополоз ругать Бибика. Пущай его проберет, недоброго.

Сажин сказывал, что Бибиков даже и это знал и очень над этим смеялся, а отношений своих к Берлинскому все-таки нимало не изменял и не отказывался быть ему полезным.

Таким образом, Берлинский, позабытый или не замечаемый в высших сферах киевского общества, в котором не было и нет дворянской знати, в среднем слое слыл чудачком, которого потихоньку вышучивали, но зато в низших слоях был героем, с феноменальной и грандиозной репутацией, которая держалась чрезвычайно крепко и привлекла под шияновские текучие крыши два бесподобнейшие экземпляра самого заматорелого во тьме «древлего благочестия», из разряда «опасных немоляков».

Впрочем, пока до них, посмотрим еще одно вводное лицо: это кварталный – классик.

Глава семнадцатая

Была одна статья, которая, кажется, непременно должна бы бросить тень на независимость и отвагу Кесаря, – это операции, имевшие целью поддержание «шиямовских нужников».

Все набитые сбродом дома и домишки, хлевушки и закуточки шияновских улиц давно валялись, а починять их строго запрещалось суровым бибиковским эдиктом о «преобразовании». Но о Берлинском говорили так, что он этих эдиктов не признает и что Биби-ков не смеет ему воспретить делать необходимые починки, ибо сам государь желал, чтобы дом, где живет Кесарь Степанович, был сохранен в крепости. Между тем, как думал об этом Биби-ков, было неизвестно, а починки были крайне нужны, особенно в крышах, которые прогнили, проросли и текли по всем швам. И что же? наперекор всем бибиковским запрещениям, крыши эти чинились; но как? Этот способ достоин занесения его в киевскую хронику.

К Кесарю Степановичу был вхож и почему-то пользовался его расположением местный квартальный, которого, помнится, как будто звали Дионисий Иванович или Иван Дионисович. Он был полухохол-полуполяк, а по религии «из тунеядского исповедания». Это

был человек пожилой и очень неопрятный, а подчас и зашибавшийся хмелем, но службист, законовед и разного мастерства художник. Притом, как человек, получивший воспитание в каких-то иезуитских школах, он знал отлично по-латыни и говорил на этом языке с каким-то престарелым униатским попом, который проживал где-то на Рыбальской улице за лужою. Латынь служила им для объяснений на базаре по преимуществу о дороговизне продуктов и о других предметах, о которых они, как чистые аристократы ума, не хотели разговаривать на низком наречии плебеев.

В служебном отношении, по части самовознаграждения, классик придерживался старой доброй системы – натуральной повинности. Денежных взяток классик не вымогал, а брал с прибывающих на печерский базар возов «что кто привез, с того и по штучке, – щоб никому не було обиды». Если на возу дрова, то дров по полену, капуста – то по кочану капусты, зерна по пригоршне и так все до мелочи, со всех поровну, «як от бога показано».

Где именно было такое показание от бога – это знал один классик, в памяти которого жила огромная, но престранная текстуализация из «божого писания» и особенно из апостола Павла.

– Ось у писании правда сказано, що «хлоп як був собі дурень, так він дурнем и подохне».

Мужик слушал и, может быть, верил, что это о нем писано. А в другой раз классик приводил уже другой текст:

– Тоже, видать, правда, що каже апостол Павел: «бій хлопа по потылице», и так как за этим следовала сама потылица, то веры тому было еще более.

Натуральную подать принимал ходивший за классиком нарочито учрежденный *custos*.³ Он все брал и сносил на шияновский двор, где у квартального в каком-то закоулочке была ветхая, но поместительная амбарушка. Тут всё получаемое складывали и отходили за дальнейшим сбором, а потом в свободное время всё это сортировали и нечто пригодное для домашнего обихода брали домой, а другое приуговлявали к промену на вещи более подходящие. Словом, тут был свой маленький меновой двор или караван-сарай взяточных продуктов, полученных от хлопков, которых апостол Павел «казав бить по потылице».

Платил ли что Иван Дионисович за этот караван-сарай – не знаю, но зато он делал дому всякие льготы, значительно возвышавшие репутацию «покойности» здешних, крайне плохих на взгляд, но весьма богохранимых жилищ.

Тут не бывало никаких обысков, тут, по рассказам, жило немало людей с плохими паспортами кромско-

³ Страж (лат.)

го, нежинского и местного киевского приготовления. Обыкновенные сорта фальшивых паспортов приготавливались тогда по всему главному пути от Орла до Киева, но самыми лучшими слыли те, которые делали в Кромах и в Дмитриеве на Свапе. В шияновских домах, впрочем, можно было обходиться и вовсе без всяких паспортов, но главное, что тут можно было делать на полной свободе, – это *молиться богу, как хочешь*, то есть каким хочешь обычаем.

Последнее обстоятельство и было причиною, что на этот двор, под команду полковника Берлинского, приснастился оригинальнейший богомолец. Сей бе именем Малахия, старец, прибывший в Киев для совершения тайных треб у староверов, которые пришли строить каменный мост с англичанином Виньо-лем. Старец Малахия, в просторечии Малафей Пимыч, был привезен своими единоверцами «из неведомого ключа» и «сокрыт» в шияновских закоулках «под тайностию». Все это в надежде на Кесаря – ибо имя его громко звучало по простолюдью дальше Орла и Калуги.

При старце был отрок лет двадцати трех, которого звали Гиезий.

Было ли это его настоящее имя или только шуточная кличка – теперь не знаю, а тогда не интересовался это расследовать.

Имени Гиезий в православных месяцесловах нет, а был такой отрок при пророке Елисее. Может быть, это оттуда и взято.

Как старец Малафей, так и его отрок были чудаки первой степени, и поселены они были в шияновской слободе в расчетах на защиту «печерского Кесаря». Но прежде, чем говорить о старце и его мужественном отроке, окончу об Иване Дионисовиче и о его художествах.

Глава восемнадцатая

У латыниста квартального было два искусства, из коих одним он хвастался, а о другом умалчивал, хотя, собственно, второе в общественном смысле имело гораздо большее значение.

Иван Дионисович хвалился тем, что он «сам себя стриг». Это, может быть, покажется кому-нибудь пустяками, но пусть кто угодно на себе это попробует, и тогда всяк легко убедится, что остричь самому себя очень трудно и требует большой ловкости и таланта. Второе же дело, которое еще более артистически исполнял, но о котором умалчивал квартальный, относилось к антикварному роду: он знал секрет, как «старить» новые доски для того, чтобы ими «подшивать» ночью прогнившие крыши, и делал он это так, что никакой глаз не мог отличить от старого новых заплат его мастерского приготовления.

В том самом караван-сараяе, где складывались натуральные подати с базарных торговцев и производилась меновая торговля, тут же у Ивана Дионисовича была и антикварная мастерская. Здесь находились дрань, лубья и деготь или колесная смола, по-малороссийски «коломазь». Все это было набрано на базаре с торговцев безданно-беспошлинно и назначалось

в дело, которое, при тогдашних строгостях, заключало в себе много тайности и немало выгод. Химия производилась в огромном старом корыте с разведенным в нем коровьим пометом и другими элементами, образующими новые соединения. Элементы всё были простые: навоз, песок, смола и зерна овса «для проросли». В этом корыте лежали приготавливаемые для антикварных работ лубы и драницы. Они подвергались довольно сложному процессу, за которым классик наблюдал не хуже любого техника, и новому материалу придавался вид древности изумительно хорошо и скоро. Квартальный сам дошел до того, как составлять этот античный колорит и пускать по нему эту веселую зелененькую проросль от разнеженных овсяных зерен. Стоило приготовить таким способом доску приколотить на место, и, как «Бибик» около нее ни разъезжай, ничего он не отличит.

Дошел до этого производства Иван Дионисович, вероятно, из тех побуждений, чтобы у него не пропадали такие продукты, как лубья и коломазь, для которых нельзя было найти особенно хорошего сбыта в их простом виде.

Кажется, квартальный иногда сам и приколачивал приготовленные им заплатки, а впрочем, я достоверно этого не знаю. Знаю только, что он их приготавливал, и притом приготавливал в совершенстве.

Способ нанесения этого материала на ветхие постройки был прост: избиралась ночь потемнее, и к утру дело было готово. На следующий день Кесарь Степанович ходил, гулял, поглядывал и говорил, улыбаясь:

– Что? много взял, безрукий?

А ему отвечали:

– Что он против тебя может!

Так и это все шло в подтверждение, что Бибиков ничего, будто, против «Кесаря» сделать не может, а тем временем пришла постройка моста, и к Виньолю притекла масса людей, из которых много было раскольников. Эти привезли с собою образа и своих «молитвенников», меж которыми всех большей тайности и охране подлежал уже раз упомянутый старец Малафей. Он был «пилипон» (то есть филипповец) и «немоляк», то есть такой сектант, который ни в домашней, ни за общественной молитвой о царе не молился. Такие сектанты, при тогдашнем малом знании и понимании духа русского раскола, почитались «опасными и особенно вредными».

Большинство людей, даже очень умных, смотрели на этих наивных буквоедов как на политических злоумышленников и во всяком случае «недрузгов царских».

Этого не избегали наши старинные законоведы и

новейшие тенденциозные фантазеры вроде Щапова, который принес своими мечтательными изъяснениями староверчества существенный вред нежно любимому им расколу.

Куда было деть в Киеве такого опасного старца, как Малахия? где его поместить так удобно, чтобы он сам был цел и чтобы можно было у него «поначаться» и вкусить с ним сладость молитвенного общения? Христолюбцам предлежала серьезная забота, «где сохранить старичка от Бибика».

Но где же лучше можно было устроить такого особенного богослова, как не в «шияновских нужниках». Сюда его и привела под крыло печерского «Кесаря» громкая слава дел этого независимого и бесстрашно-го человека.

Глава девятнадцатая

Старца Малафея с его губатым отроком в шияновских палестинах водворили два какие-то каменщика. Эти люди приходили осматривать помещение с большими предосторожностями. О цене помещения для старца они говорили с барышней, которая ведала домовые счета, а потом беседовали с Кесарем Степановичем о чем-то гораздо более важном.

Это тогда заинтересовало всех близких людей.

Каменщики были люди вида очень степенного и внушительного, притом со всеми признаками самого высокопробного русского благочестия: челочки на лобиках у них были подстрижены, а на маковках в честь господню гуменца пробриты; говор тихий, а взгляд умеренный и «поникновенный».

О деньгах за квартиру для старца и его отрока раскольники не спорили. Очевидно, это было для них последним делом, а главное было то, о чем говорено с Кесарем Степановичем.

Он их «исповедовал во всех догматах» их веры и — надо ему отдать честь — пришел к заключениям весьма правильным и для этих добрых людей благоприятным.

На наши расспросы: что это за необыкновенные

люди, он нам с чисто военной краткостью отвечал:

– Люди прекрасные и дураки.

Результатом такого быстрого, но правильного определения было то, что злосчастные раскольники получили разрешение устраиваться в подлежащем отделении «шияновских нужников», а квартальный-классик в следующую же ночь произвел над крышею отданного им помещения надлежащие антикварные поправки.

Глава двадцатая

Под старца была занята довольно обширная, но весьма убогая хоромина – впрочем, в самом излюбленном раскольничьем вкусе. Это была низенькая полудеревянная-полумазанная, совершенно отдельная хибара. Она стояла где-то на задворке и была ниоткуда не видима. Точно она здесь нарочно построена в таком сокрытии, чтобы править в ней нелегальные богомольства.

Чтобы добраться до этого, буквально сказать, молитвенного хлева, надо было пройти один двор, потом другой, потом завернуть еще во дворик, потом пролезть в закоулочек и оттуда пройти через дверь с блочком в дровяную закуточку. В этой закуточке был сквозной ход еще на особый маленький дворишко, весь закрытый пупом поднявшеюся высокою навозною кучею, за которою по сторонам ничего не видно. Куча была так высока, что закрывала торчавшую из ее середины высокую шелковицу или рябину почти по самые ветви.

Хатина имела три окна, и все они в ряд выходили на упомянутую навозную кучу, или, лучше сказать, навозный холм. При хате имелись дощатые сени, над дверями которых новые наемщики тотчас же по во-

дворении водрузили небольшой медный литой крест из тех, что называют «курсунчиками».

С другой стороны на кучу выходило еще одно маленькое окно. Это принадлежало другому, тоже секретному помещению, в которое входили со второго двора. Тут жили две или три «старицы», к которым ходили молиться раскольники иного согласия – «тропарники», то есть певшие тропарь: «Спаси, Господи, люди твоя». Я в тогдашнее время плохо понимал о расколе и не интересовался им, но как теперь сообщаю, то это, должно быть, были поморцы, которые издавна уже «к тропарю склонялись».

Молитвенная хата, занятая под старца Малафея, до настоящего найма имела другие назначения: она была когда-то банею, потом птичною, «индеечной – разводкою», то есть в ней сиживали на гнездах индейки-наседки, а теперь, наконец, в ней поселился святой муж и учредилась «моленна», в знак чего над приотолками ее дощатых сеней и утвержден был медный «курсунчик».

В противоположность большинству всех помещений шияновского подворья, эта хата была необыкновенно теплая.

Глава двадцать первая

Старца Малахию каменщики привезли поздним вечером на парных деревенских санях и прямо привели его во храмину и заключили там на безысходное житье.

Убранства хате никакого не полагалось, а что было необходимо, то сами же прихожане устроили без всякой посторонней помощи.

Мы ее однажды осматривали через окно, при посредстве отрока Гиезия, в те часы, когда Малафей Пимыч, утомясь в жаркий день, «держал опочив» в сенничках. По одной стене горенки тянулись в два тябла старинные иконы, перед которыми стоял аналой с поклонною «рогозинкою», в угле простой деревянный стол и пред ним скамья, а в другом угле две скамьи, поставленные рядом. В одном конце этих скамеек был положен толстый березовый обрубок, покрытый обрывками старой крестьянской свиты.

Это была постель старца, который почивал по правилам доблего жития, «не имея возглавицы мягкия».

Для отрока Гиезия совсем не полагалось никакой ни утвари, ни омеблировки. Он вел житие не только иноческое, но прямо спартанское: пил он из берестяного сверточка, а спал лето и зиму на печке.

Старец «попил», то есть полагал «начал» чтению и пению, исповедал и крестил у своих раскольников, а Гиезий состоял при нем частью в качестве дьячка, то есть «аминил» и читал, а частью вроде слуги и послушника. Послушание его было самое тяжкое, но он нес его безропотно и с терпением невероятным. Старец его никуда почти не выпускал, «кроме торговой нужды», то есть хождения за покупками; томил его самым суровым постом и притом еще часто «началил». За малые прегрешения «началенье» производилось ременною лестовицею, а за более крупные грехи – концом веревки, на которой бедный Гиезий сам же таскал для старца воду из колодца. Если же вина была «особливая», тогда веревка еще нарочно смачивалась, и оттого удары, ею наносимые спине отрока, были больнее.

Старца Малахию мы никогда вблизи не видали, кроме того единственного случая, о котором наступит рассказ. Известно было только одно общее очертание его облика, схваченное при одном редком случае, когда он появился какой-то нужды ради перед окном. Он был роста огромного, сед и белобород и даже с празеленью; очи имел понурые и почти совсем не видные за густыми, длинными и тяжело нависшими бровями. Лет старцу, по наружности судя, было близко к восьмидесяти; он был сильно сутул и даже согбен, но

плотен и несомненно еще очень силен. Волосы на его голове были острижены не в русский кружок, а какими-то клоками; может быть, «постризало» на них уже и «не восходило», а они сами не росли от старости. Одет он был всегда в черный мухояр, и через плечи его на грудь висела длинная связка каких-то шаров, похожих на толстые баранки. Связка эта спускалась до самого пупа, и на пупе приходился крест, вершка в три величиною. Это были четки.

Голос старца был яко кимвал бряцаяй, хотя мы сподоблены были слышать в его произношении только одно слово: «парень». Это случалось, когда старец кликал из двери Гиезия, выходявшего иногда посидеть на гноище у шелковицы или рябины.

Более старец был не видим и не слышан, и судить о нем было чрезвычайно трудно; но Кесарь Степанович и его характеризовал кратким определением:

– Дурак присноблаженный.

Глава двадцать вторая

Гиезия мы знали несравненно ближе, потому что этот, по молодости своей, сам к нам бился, и, несмотря на то, что «дедушка» содержал его в безмерной строгости и часто «началил» то лестовицей, то мокрой веревкой, отрок все-таки находил возможность убежать к нам и вел себя в нашем растленном круге не совсем одобрительно. Зато, как ниже увидит читатель, с ним однажды и впоследствии такое бедствие, какое, наверное, ни с кем другим не случилось: он был окормлен *человечьим мясом* ... Или, точнее сказать, он имел несчастье думать, будто над ним было совершено такое коварство «учеными», в которых он видел прирожденных врагов душевного спасения.

Вперед об этом ужасном случае будет рассказано обстоятельно.

Отроку, как я выше сказал, было двадцать два года. «Отрок», по применению к нему, не выражало поры его возраста, а это было его звание, или, лучше сказать, его сан духовный. Он был широкорожего великорусского обличья, мордат и губаст, с русыми волосами и голубыми глазами, имевшими странное, пылливое и в то же время совершенно глупое выражение. Румянец пробивался на его лице где только мог,

но нигде просторно не распространялся, а проступал пятнами, и оттого молодое, едва опушавшееся мягкою бородкою лицо отрока имело вид и здоровый и в то же время нездоровый. Бывают такие собаки, которые «в щенках заморены». Видно, что породиста, да от заморы во всю свою природу не достигает.

По уму и многим свойствам своего характера Гиезий был наисовершеннейшим выразителем того русского типа, который метко и сильно рисует в своей превосходнейшей книге профессор Ключевский, то есть «заматорелость в преданиях, и никакой идеи». Сделать что-нибудь иначе, как это заведено и как делается, Гиезию никогда не приходило в голову: это помогало ему и в его отроческом служении, в которое он, по его собственным словам, «вдан был родительницею до рождения по оброку».

Это разъяснялось так, что у его матери была несносная болезнь, которую она, со слов каких-то врачей, называла «азиятик»; болезнь эта происходила от каких-то происков злого духа. Бедная женщина долго мучилась и долго лечилась, но «азиятик» не проходил. Тогда она дала обет балыкинской божией матери (в Орле), что если только «азиятик» пройдет и после исцеления родится дитя мужеского пола, то «вдаст его в услужение святому мужу, в меру возраста Христова», то есть до тридцати трех лет.

После такого обета больная, заступлением балыкинской Божией матери, выздоровела и имела вторую радость – родила Гиезия, который с восьми лет и начал исполнять материн обет, проходя «отроческое послушание». А до тридцати трех лет ему еще было далеко.

Старец на долю отрока Гиезия выпал, может быть, и весьма святой и благочестивый, но очень суровый и, по словам Гиезия, «столько об него мокрых веревок обначалил, что можно бы по ним уже десяти человекам до неба взойти».

Но учение правилам благочестия Гиезию давалось плохо и не памятно. Несмотря на свое рождение по священному обету, он, по собственному сознанию, был «от природы блудлив». То он сны нехорошие видел, то кошкам хвосты щемил, то мирщил с никонианами или «со иноверными спорился». А бес, всегда равнодушный ко спасению людей, стремительно восходящих на небо, беспрестанно подставлял Гиезию искушения и тем опять подводил его под мокрую веревку.

На шияновском дворе, который был удален от всякого шума, Гиезий прежде всего впал в распри с теми поморами, окно которых выходило на их совместную навозную кучу, разделявшую «их согласия».

Как поморы, бывало, начнут петь и молиться, Гие-

зий залезает на рябину и дразнит их оттуда, крича:

– Тропарь-мытарь.

А те не выдержат и отвечают:

– Немоляки-раскоряки.

Так обе веры были взаимно порицаемы, а последствием этого выходили стычки и «камнеметание», заканчивавшиеся иногда разбитием окон с обеих сторон. В заключение же всей этой духовной распри Гиезий, как непосредственный виновник столкновений, был «начален» веревкою и иногда ходил дня по три согнувшись.

Затем, разумеется, и бог и старец его прощали, но он скоро впадал еще в большие искушения. Одно из таковых ему едва не стоило потери рассудка и даже самой жизни.

Глава двадцать третья

При полном типическом отсутствии идей у Гиезия была пытливость, и притом самая странная. Он любил задавать такие неожиданные вопросы, которые в общем напоминали вопросы детей.

Прибежит, бывало, под окно и спрашивает:

– Отчего у льва грива растет?

Ему отвечают:

– Пошел ты прочь – почему я знаю, отчего у льва грива растет?

– А как же, – говорит, – в чем составляется наука светская?

Его прогонят, а он при случае опять пристаёт с чем-нибудь подобным, и это без всякой задней мысли или иронии, – а так, какой-то рефлекс его толкнет, он и спрашивает:

– Отчего рябина супротив крыжовника горче?

Но больше всего его занимали вещи таинственные, для которых он искал разъяснения в природе. Например, ему хотелось знать: «какое бывает сердце у грешника», и вот это-то любопытство его чуть не погубило.

Так как в доме жило несколько медицинских студентов, между которыми бывали ребята веселые и ша-

ловливые, то один из них пообещал раз Гиезию «показать сердце грешника».

Для этого требовалось прийти в анатомический театр, который тогда был во временном помещении, на нынешней Владимирской улице, в доме Беретти.

Гиезий долго не решался на такой рискованный шаг, но страстное желание посмотреть сердце грешника его преодолело, он пришел раз к студентам и говорит:

– Есть теперь у вас мертвый грешник?

– Есть, – говорят, – да еще самый залихватский.

– А что он сделал?

– Отца продал, мать заложил и в том руку приложил, а потом галку съел и зарезался.

Гиезий заинтересовался.

– Меня завтра дедушка к Батухину в лавку за оливой к лампадам пошлет, а я к вам в анатомию прибегу, покажите мне сердце грешниче.

– Приходи, – отвечают, – покажем.

Он сдержал свое слово и явился бледный и смущенный, весь дрожа в страхе несказанном.

Ему дали выпить мензулку препаровочного спирта для храбрости, под видом «осмелительных капель», сказав притом, что без этого нельзя увидеть сердце.

Он выпил и ошалел, сердце он нашел совсем неудовлетворительным и вовсе не похожим на то, как

его себе представлял, судя по известному лубочному листу: «сердце грешника – жилище сатаны». Чтобы увидеть сатану в сердце, его уговорили выпить еще вторую мензулку, и он выпил и потом что-то ел. А когда съел, то студенты ему сказали:

– Знаешь ли, что ты съел?

Он отвечал:

– Не знаю.

– А это ты, братец, съел котлету из человеческого мяса.

Гиезий побледнел и зашатался: с ним совершенно неожиданно сделался настоящий обморок.

Его насилу привели в себя и ободрили, уверяя, что котлета сжарена из мяса человека зарезавшегося, но от этого с Гиезием чуть не сделался второй обморок, и начались рвоты, так что его насилу привели в порядок и на этот раз уже стали разубеждать, что это было сказано в шутку и что он ел мясо говяжье; но никакие слова на него уже не действовали. Он бегом побежал на Печерск к своему старцу и сам просил «сильно его поначалить», как следует от страшного прегрешения.

Старец исполнил просьбу отрока.

И дорого это обошлось здоровью бедного парня: дней десять после этого происшествия мы его вовсе не видали, а потом, когда он показался с ведром за плечами, то имел вид человека, перенесшего страш-

ные муки. Он был худ, бледен и сам на себя не похож, а вдобавок долго ни за что ни с кем не хотел говорить и не отвечал ни на один вопрос.

После, по особому к одному из нас доверию, он открыл, что дедушка его «вдвойне началил», то есть призвал к сему деланию еще другого, случившегося тут благоверного христианина, и оба имели в руках концы веревки, «свитые во двое», и держали их «оборучь». И началили Гиезия в угле в сенях, уложив «мордюю в войлок, даже до той совершенной степени, что у него от визгу рот трубкой закостенел и он всей памяти лишился».

Но на дедушку отрок все-таки нимало не роптал, ибо сознавал, что «бит был во славу Божию», и надеялся через это более «с мирскими не суетить и исправиться».

Глава двадцать четвертая

Кажется, это и в самом деле произвело в нем такой сильный перелом, к какому только была способна его живая и увлекающая натура. Он реже показывался и вообще уже не заводил ни разговоров с нами, ни пререканий с благоверными поморами, которые «на тропаре повисли».

К тому же обстоятельства поизменились и поразмели нашу компанию в разные стороны, и старец с отроком на время вышли из вида.

Между тем мост был окончен, и к открытию его в Киев ожидали государя Николая Павловича. Наконец и государь прибыл, и на другой день было назначено открытие моста.

Теперь ничего так не торжествуют, как тогда торжествовали. Вечер накануне был оживленный и веселый: все ходили, гуляли, толковали, но были люди, которые проводили эти часы и иначе.

На темном задворке шияновских закуток и поморы и филипоны молились, одни с тропарем, другие без тропаря. Те и другие ждали необычайной для себя радости, которая их благочестию была «возвещена во псалтыре».

Около полуночи мне довелось проводить одну де-

вицу, которая жила далеко за шияновским домом, а на возвратном пути у калитки я увидел темную фигуру, в которой узнал антропофага Гиезия.

– Что это, – говорю, – вы в такую позднюю пору на улице?

– Так, – отвечает, – все равно нонче надо не спать.

– Отчего надо не спать?

Гиезий промолчал.

– А как это вас дедушка так поздно отпустил на улицу?

– Дедушка сам выслал. Мы ведь до самого сего часа молитвовали, – почитай сию минуту только зааминили. Дедушка говорит: «Повыдь посмотри, что деется».

– Чего же смотреть?

– Како, – говорит, – «суетят никонианы и чего для себя ожидают».

– Да что такое, – спрашиваю, – случилось, и чего особенного ожидаете?

Гиезий опять замялся, а я снова повторил мой вопрос.

– Дедушка, – говорит, – много ждут. Им, дедушке, ведь все из псалтыри открыто.

– Что ему открыто?

– С завтрашнего числа одна вера будет.

– Ну-у!

– Увидите сами, – до завтра это в тайне, а завтра всем царь объявит. И упротивные (то есть поморы) тоже ждут.

– Тоже объединения веры?

– Да-с; должно быть, того же самого. У нас с ними нынче, когда наши на седальнях на дворик вышли, меж окно опять легкая война произошла.

– Из-за чего?

– Опять о тропаре заспорили. Наши им правильно говорили: «подождать бы вам тропарь-то голосить в особину; завтра разом все вообще запоем; столпом воздымем до самого до неба». А те несогласны и отвечают: «мы давно на тропаре основались и с своего не снидем». Слово по слову, и в окно плеваться стали.

Я любопытствовал, как именно это было.

– Очень просто, – говорит Гиезий, – наши им в окно кукиши казать стали, а те оттуда плюнули, и наши не уступили, – им то самое, наоборот. Хотели войну сделать, да полковник увидел и закричал: «Цыть! всех изрублю». Перестали плеваться и опять запели, и всю службу до конца доправили и разошлись. А теперь дедушка один остался, и страсть как вне себя ходит. Он ведь завтра выход сделает.

– Неужели, – говорю, – дед наружу вылезет?

– Как же-с – дедушка завтра на улицу пойдет, чтоб на государя смотреть. Скоро сорок лет, говорят, будет,

как он по улицам не ходил, а завтра пойдет. Ему уж наши и шляпу принесли, он в шляпе и с костылем идти будет. Я его поведу.

– Вот как! – воскликнул я и простился с Гиезием, совсем не поняв тех многозначительнейших намеков, которые заключались в его малосвязном, но таинственном рассказе.

Глава двадцать пятая

День открытия «нового моста», который нынче в Киеве называют уже «старым», был ясный, погожий и превосходный по впечатлениям.

Все мы тогда чувствовали себя необыкновенно веселыми и счастливыми, бог весть отчего и почему. Никому и в голову не приходило сомневаться в силе и могуществе родины, исторический горизонт которой казался чист и ясен, как покрывавшее нас безоблачное небо с ярко горящим солнцем. Все как-то смахивало тогда на воробьев последнего тургеневского рассказа: прыгали, чиликали, наскакивали, и никому в голову не приходило посмотреть, не реет ли где поверху ястреб, а только бойчились и чирикали:

– Мы еще повоюем, черт возьми!

Воевать тогда многим ужасно хотелось. Начитанные люди с патриотической гордостью повторяли фразу, что «Россия – *государство военное*», и военные люди были в большой моде и пользовались этим не всегда великодушно. Но главное – тогда мы были очень молоды, и каждый из нас провожал кого-нибудь из существ, заставлявших скорее биться его сердце. Волокитство и ухаживанья тогда входили в «рописание часов дня» благопристойного россиянина, чему

и может служить наилучшим выражением «дневник Виктора Аскоченского», напечатанный в 1882 году в «Историческом вестнике». И сам автор этого «дневника», тогда еще молодцеватый и задорный, был среди нас и даже, может быть, служил для многих образцом в тонкой науке волокитства, которую он практиковал, впрочем, преимущественно «по купечеству». У женщин настоящего светского воспитания он никакого успеха не имел и даже не получал к ним доступа. Аскоченский одевался щеголем, но без вкуса, и не имел ни мягкости, ни воспитанности: он был дерзок и груб в разговоре, очень неприятен в манерах.

По словам одного из его киевских современников, впоследствии профессора Казанского университета, А. О. Яновича, он всегда напоминал «переодевшегося архиерея». В сияющий день открытия моста Аскоченский ходил в панталонах рококо и в светлой шляпе на своей крутой голове, а на каждой из его двух рук висело по одной подольской барышне. Он вел девиц и метал встречным знакомым свои тупые семинарские остроты. В этот же день он, останавливаясь над кручею, декламировал:

...Вот он Днепр —

Тот самый Днепр, где вся Русь крестилась

И, по милости судеб, где она омылась.

За этими стихами следовало его командирское слово:

На молитву же, друзья:
Киев перед вами!

После все это вошло в какое-то большое его призывное стихотворение, по обыкновению, с тяжелою версификациею и с массою наглагольных рифм. Его муза, под пару ему самому, была своенравна и очень неуклюжа.

О нем хочется сказать еще два слова: «дневник» этого довольно любопытного человека напечатан, но, по-моему, он не только не выяснил, но даже точно закутал эту личность. По-моему, дневник этот, который я прочел *весь* в подлиннике, имеет характер сочиненности. Там даже есть *пятна слез*, оросившие страницы, где говорится о подольских купеческих барышнях. Или есть такие заметки: «я пьян и не могу держать пера в руках», а между тем это написано совершенно трезвою и твердою рукою...

Вообще надо жалеть, что никто из знавших Аскоченского киевлян не напишет хорошей беспристрастной заметки о тревожной жизни и трудах этого человека с замечательными способностями, из которых он сделал едва ли не самое худшее употребление, ка-

кое только мог бы ему выбрать его злейший враг. Праху его мир и покой, но его жизненные невзгоды и карьерная игра характерны и поучительны. Кроме Виктора Ипатьича, тогда в Киеве водились еще и другие поэты, в плоской части доживал свой маститый век Подолинский, а по городу ходили одна молодая девица и один молодой кавалер. Девица, подражая польской импровизаторше Деотыме, написала много маленьких и очень плохих стихотворений, которые были ею изданы в одной книжечке под заглавием: «Чувства патриотки». Склад издания находился в «аптеке для души», то есть в подольской библиотеке Павла Петровича Должикова. Стихотворения совсем не шли, и Должиков иногда очень грубо издевался над этою книгою, предлагая всем «вместо хлеба и водки – чувства патриотки». В день открытия моста стихотворения эти раздавались безденежно. На чей счет было такое угощение – не знаю. Подолинский, кажется, еще жил, но не написал ничего, да про него тогда и позабыли, а Альфред фон Юнг что-то пустил с своего Олимпа, но что именно такое – не помню. Невозможно тоже не вспомнить об этом добрейшем парне, совершенно безграмотном и лишенном малейшей тени дарования, но имевшем неодолимую и весьма разорительную страсть к литературе. И он, мне кажется, достоин благодарного воспоминания от киевлян, если не как

поэт, то как самоотверженнейший пионер – периодического издательства в Киеве. До Юнга в Киеве не было газеты, и предпринять ее тогда значило наверное разориться. Юнга это не остановило: он завел газету и вместо благодарности встречал отовсюду страшные насмешки. По правде сказать, «Телеграф» юнговского издания представлял собою немало смешного, но все-таки он есть *дедушка* киевских газет. Денег у Юнга на издание долго не было, и, чтобы начать газету, он прежде пошел (во время Крымской войны) «командовать волами», то есть погонщиком. Тут он сделал какие-то сбережения и потом все это самоотверженно поверг и сожег на алтаре литературы. Это был настоящий литературный маньяк, которого не могло остановить ничто, он все издавал, пока совсем не на что стало издавать. Литературная неспособность его была образцовая, но, кроме того, его и преследовала какая-то злая судьба. Так, например, с «Телеграфом» на первых порах случались такие анекдоты, которым, пожалуй, трудно и поверить: например, газету эту цензор Лазов считал полезным запретить «за невозможные опечатки». Поправки же Юнгу иногда стоили дороже самых ошибок: раз, например, у него появилась поправка, в которой значилось дословно следующее: «во вчерашнем №, на столбце таком-то, у нас напечатано: *пуговица*, читай: *богородица*». Юнг был в ужа-

се больше от того, что цензор ему выговаривал: «за-чем-де поправлялся!»

– Как же не поправиться? – вопрошал Юнг, и в самом деле надо было поправиться.

Но едва это сошло с рук, как Юнг опять ходил по городу в еще большем горе: он останавливал знакомых и, вынимая из жилетного кармана маленькую бумажку, говорил:

– Посмотрите, пожалуйста, – хорош цензор! Что он со мною делает! – он мне не разрешает поправить вчерашнюю ошибку.

Поправка гласила следующее: «Вчера у нас напечатано: киевляне преимущественно все *онанисты*, – читай *оптимисты*».

– Каково положение! – восклицал Юнг.

Через некоторое время Алексей Алексеевич Лазов, однако, кажется разрешил эту, в самом деле необходимую поправку. Но был и такой случай цензорского произвола, когда поправка не была дозволена. Случилось раз, что в статье было сказано: «не удивительно, что при таком воспитании вырастают *недоблуды*». Лазов удивился, что это за слово? Ему объяснили, что хотели сказать «лизоблуды»; но когда вечером принесли сводку номера, то там стояло: «по ошибке напечатано: *недоблуды*, – должно читать: *переблуды*». Цензор пришел в отчаяние и совсем вычеркнул по-

правку, опасаясь, чтобы не напечатали чего еще худшего.

Пора, однако, возвратиться от литераторов к старцу Малахии, который украсил этот торжественный день своим появлением в поднесенной ему необыкновенной шляпе.

Глава двадцать шестая

Густые толпы людей покрывали все огромное пространство городского берега, откуда был виден мост, соединивший Киев с черниговскою стороною Днепра. Только более страстные до зрелищ или особенно патронируемые кем-нибудь из властных нашли возможность протесниться «за войска», расположенные внизу у въезда на мост и, наконец, шпалерами вдоль самого моста. Но таких счастливых было немного, сравнительно с огромными массами, покрывшими надбережные холмы, начиная от Выдубицкого монастыря и Аскольдовой могилы до террас, прилегающих к монастырю Михайловскому. Кажется, без ошибки можно сказать, что в этот день вышло из домов все киевское население, чем тогда и объясняли множество благоуспешно сделанных в этот день краж. И, несмотря на всю длину этой страшно растянутой береговой линии, трудно было найти удобное место. Были люди, которые пришли сюда спозаранка с провизией в карманах и крепко заняли все наилучшие позиции. Оттого зрителям, которые пришли позже, нужно было переменять множество мест, пока удавалось стать так, что была видна «церемония».

Были люди, которые взлезли на деревья, были и та-

кие смельчаки, которые прилепились к песчаным выступам обрывов и иногда скатывались вниз вместе с своим утлым подножьем. Случайности в подобном роде вызывали веселый хохот и шуточные замечания. Было довольно неудовольствий по поводу обидного обращения господ военных с циническим элементом, но все это до судов не доходило, военные люди тогда свободно угнетали «аршинников, хамов и штафинок». Духовенство тоже претерпевало от этого зауряд с мирянами и тоже не жаловалось. Это было в порядке вещей. Военные, повторяю, чувствовали себя тогда в большом авантаже и, по современному выражению, «сильно форсили». Они имели странный успех в киевском обществе и часто позволяли себе много совершенно неприличного. Особенно одно время (именно то, которого я касаюсь) среди офицеров ожесточенно свирепствовало поголовное притворство в остроумии. Они ошастливили своим знакомством и купеческие дома и здесь вели себя так развязно, что перед ними спасовал даже сам Аскоченский. Из военных шуток при открытии моста я помню две: у самой ограды бывшего здания минеральных вод появился какой-то немец верхом на рыжей лошади, которая беспрестанно махала хвостом. Его просили отъехать, но он не соглашался и отвечал: «не понимаю». Тогда какой-то рослый офицер сдернул его за ногу на землю,

а лошадь его убежала. Немец был в отчаянии и побежал за конем, а публика смеялась и кричала вслед:

– Что, брат, понял, как по-военному!

Офицер прослушал это несколько раз и потом крикнул:

– Перестать, дураки!

Они и перестали.

Должно быть, не любил лести.

Это, впрочем, была более отвага, чем остроумие; настоящее же остроумие случилось на месте более скрытом и тихом, именно за оградой монастыря Малого Николая.

На неширокой, но сорной и сильно вытопанной площадке здесь местилось всякое печерское разночинство и несколько человек монашествующей братии.

Были маститые иноки с внушительными сединами и легкомысленные слимаки с их девственными гривами вразмет на какую угодно сторону.

Один из иноков, по-видимому из почетных, сидел в кресле, обитом просаленною черною кожею и похожем по фасону своему не на обыкновенное кресло, а на госпитальное судно.

К этому иноку подходили простолюдины: он всех их благословлял и каждого спрашивал буквально одно и то же:

– Чьи вы и из какой губернии?

Получив ответ, инок поднимал руку и говорил: «богу в прием», а потом, как бы чувствуя некую силу, из себя исшедшую, зевал, жмурил глаза и преклонял главу. Заметно было, что общее оживление его как будто совсем не захватывало, и ему, может быть, лучше было бы идти спать.

На него долго любовались и пересмеивались два молодых офицера, а потом они оба вдруг снялись с места, подошли к иноку и довольно низко ему поклонились.

Он поднял голову и сейчас же спросил их:

– Чьи вы и какой губернии?

– Из Чревоматерного, – отвечали офицеры.

– Богу в прием, – произнес инок и, преподав благословение, снова зажмурился. Но офицеры его не хотели так скоро оставить.

– Позвольте, батюшка, побеспокоить вас одним вопросом, – заговорили они.

– А что такое? какой будет ваш вопрос?

– Нам очень хотелось бы отыскать здесь одного нашего земляка иеромонаха.

– А какой он такой и как его звать?

– Отец Строфокамил.

– Строфокамил? не знаю. У нас, кажется, такого нет. А впрочем, спросите братию.

Несколько человек подвинулись к офицерам, которые, не теряя ни малейшей тени серьезности, повторили свой вопрос братии, но никто из иноков тоже не знал «отца Строфокамила». Один только сообразил, что он, верно, грек, и посоветовал разыскивать его в греческом монастыре на Подоле.

Кадетские корпуса тогда в изобилии пекли и выпускали в свет таких и сим подобных остроумцев, из которых потом, однако, выходили «севастопольские герои» и не менее знаменитые и воспрославленные «крымские воры» и «полковые морельщики».

До чего заносчиво тогда, перед Крымскою войною, было офицерство и какие они себе позволяли иногда выходки, достойно вспомнить. Вскоре этому, вероятно, уже не будут верить.

Раз приехал, например, в Киев офицер Р. (впоследствии весьма известный человек) и вдруг сделал себе блестящую репутацию тем, что «умел говорить дерзости». Это многих очень интересовало, и офицера нарасхват зазывали на все балики и вечеринки. Он ошалел от успехов и дошел до наглости невероятной. Один раз в доме некоего г. Г—ва он самым бесцеремонным образом обругал целое сборище. Г. собрал к себе на вечеринку друзей и пригласил Ра—цкого. Тот осчастливил, приехал, но поздно и, не входя в гостиную, остановился в дверях, оглянул всех в лорнет,

произнес: «какая, однако, сволочь!» и уехал... никем не побитый! Последним финалом его пошлых наглостей было то, что однажды в Кинь-Грусти, стоя в паре в горелках с известною в свое время г-жою П—саревую, он не тронулся с места, когда его дама побежала; ту это смутило, и она спросила его: «Почему же вы не бежите?» Ра—цкий отвечал: «Потому, что я боюсь упасть, как вы». Тогда его выпроводили, но только по особому вниманию Бибикова, который был особенно предупредителен к этой даме. Другой бедовый воитель был артиллерист Кле—аль. Этот больше всего поражал тем, что весьма простодушно являлся в «лучшие дома» на балы совершенно пьяный, хотя, впрочем, он и трезвый стоил пьяного. До чего он мог довести свою бесцеремонность, свидетельствует следующий случай: раз, танцуя в доме Я. И. Пе—на, Кле—аль полетел вместе с своею дамою под стол. Его оттуда достали и начали оправлять. Хозяин был смущен и заметил офицеру, что он уже слишком весел, но тот не сконфузился.

– Да, – отвечал Кле—аль, – я весел. Это моя сфера. Впрочем, здесь так и следует, – и сию же минуту, не ожидая возражения, он добавил: – Скажите, пожалуйста, мне говорили, будто тут есть какой-то господин Бе—ти – все говорят, что он, будто, ужасный дурак, но отлично, каналья, кормит. Вот я очень хотел

бы сделать ему честь у него поужинать.

Хозяин смешался, потому что Бе—ти стоял тут же возле, но сам Бе—ти сейчас же пригласил этого шалуна на свои вечера, и это служило к их оживлению. — Третий припоминается мне офицер расформированного нынче жандармского полка, К—ий, которого одна, очень юная и милая, подольская барышня имела неосторожность полюбить, а любя, поцеловала и при каком-то случае подарила ему свой белокурый локон. Офицер сохранил эту галантерейщину и не отказывался от поцелуев, но с предложением женитьбы медлил. Родители же девушки находили это несоответственным, и девушка была помолвлена за другого. Ни барышня, ни жених ни в чем не были виноваты, но г. К—ий пришел к ним в дом на именинное собрание и с грубым ругательством бросил *невесте в лицо* ее локон, а жениха ударил. Многим и этот наделавший шуму поступок казался своего рода развеселым, но довольно позволительным фарсом, и когда покойный чиновник генерал-губернатора Друкарт, производя об этом следствие, не поблажал К—му, то Друкарта осуждали за «грубость» к интересному герою.

Впрочем, подобное ожесточенное свирепство милитеров тогда было повсеместно в России, а не в одном Киеве. В Орле бывший елисаветградский гусарский полк развешивал на окнах вместо штор похаб-

ные картины; в Пензе, в городском сквере, взрослым барышням завязывали над головами низы платьев, а в самом Петербурге рвали снизу до верха шинели несчастных «штафинок». Успокоила этих сорванцов одна изнанка Крымской войны. Но оставим их будущему историку культуры русского общества и поспешим к тем, непосредственность которых гораздо интереснее.

В ту же минуту, как из глаз моих скрылись офицеры, расспрашивавшие монахов об отце Строфокамиле, я заметил невдалеке одного моего товарища, который так же, как я, знал Берлинского, Малахию и Гиезия.

Приятель меня спрашивает:

– Видел ли ты морское чучело?

– Какое? – говорю.

– А старца Малахая. (Он имел привычку звать его Малахаем.)

– А где он?

– Да вот сейчас, – говорит, – недалеко здесь, налево, за инженерским домом на кирпичах стоит. Иди, смотри его – он восхитителен!

– Неужели, – говорю, – в самом деле хорош?

– Описать нельзя: и сам хорош, и притом обставлен удивительно! Вокруг него все столпы древнего благочестия «вообще» и наш губошлепый Гиезька, весь, подлец, деревянным маслом промаслен... А на само-

го Малахая, увидишь, какую шляпу наложили.

– А что в ней такого замечательного?

– Антик – другой такой нет. Говорят, из Москвы, из Грановитой палаты выписали на подержание – еще сам царь Горох носил.

Я не заставлял себя более убеждать и поспешил разыскивать старца.

Глава двадцать седьмая

Надо вспомнить, что между монастырем Малого Николая и крепостною башнею, под которой ныне проходят Никольские ворота, был только один старый, но преудобный дом с двором, окруженным тополями. В этом доме с некоторых пор жили кто-то из начальствующих инженеров. За это его, кажется, и не разломали. Стоило обойти усадьбу этого очень просторно расположившегося дома, и сейчас же надо было упереться в отгороженный временным заборчиком задворочек, который приютился между башнею и садом инженерного дома. На этом задворочке были свалены разные строительные остатки – доски, бревна, несколько кулей с известкой и несколько кладок белого киевского кирпича. Тут же стояла и маленькая, тоже временная, хатка, в которой жил сторож. У ворот этого заграждения была и надпись, объявлявшая, что «посторонним лицам сюда входить строго воспрещается». В день открытия моста запрещение слабо действовало и дало сторожу возможность открыть сюда вход за деньги. Сторож, рыжий унтер с серьгою в ухе и вишневым пятном на щеке, стоял у этой двери и сам приглашал благонадежных лиц из публики вступить в запрещенное место. По его словам, оттуда было «все

видно», а плату за вход он брал умеренную, по «злотовке», то есть по пятнадцати копеек с персоны.

Взнеся входную цену и переступив за дощатую форточку, я увидал перед собою такой «пейзаж природы», который нельзя было принять иначе, как за символическое видение.

Мусор всех сортов и названий, обломки всего, что может значиться в смете материалов, нужных для возведения здания с подземного бута до кровли: доски, бревна, известковые носилки и тачки, согнутые и проржавленные листы старого кровельного железа, целый ворох обломков водосточных труб, а посреди всего этого хлама, над самым берегом, шесть или семь штабелей запасного кирпича. Сложены они были столбиками неравной высоты, одни – пониже, другие немного повыше, и, наконец, на самом высоком месте зрелось человечище прекрупное, вельми древнее и дебелое. Это стоял Малахия. Одеян он был благочестивым предковским обычаем, в синей широкой суконной чуйке, сшитой совсем как старинный охабень и отороченной по рукавам, по вороту и по правой доле каким-то дрянным подлезлым мехом. Одежде отвечала и обувь: на ногах у старца были сапоги рыжие с мягкой козловой холявою, а в руках долгий крашеный костыль; но что у него было на голове посажено, тому действительно и описания не сделаешь.

Это была шляпа, но кто ее делал и откуда она могла быть в наш век добыта, того никакой многобывалый человек определить бы не мог. Историческая полнота сведений требует, однако, сказать, что штука эта была добыта почитателями старца Малахии в Киеве, а до того содержалась в тайниках магазина Козловского, где и обретаена была случайно приказчиком его Скрипченком при перевозе редкостей моды с Печерска на Крещатик.

Шляпа представляла собою превысокий плюшевый цилиндр, с самым смелым перехватом на середине и с широкими, совершенно ровными полями, без малейшего загиба ни на боках, ни сзади, ни спереди. Сидела она на голове словно рожон, точно как будто она не хотела иметь ни с чем ничего общего.

Величественная фигура Малафея Пимыча утвердилась здесь, вероятно, раньше всех, потому что позиция его была всех выгоднее: занимая самую высокую кладку кирпича, старец мог видеть дальше всех, и сам был всем виден.

Рядом с Пимычем, на кладке, которая была немножко пониже, помещался Гиезий. Он был в бутылочном азымчике с тремя христианскими сборами на кострецах и в суконном шлычке без козырька. Он беспрестанно переменял ноги, и в его покосившейся на одно плечо фигуре чуялась несносная скука, лень и

томительное желание шевельнуть затекшими ногами и брызнуть в ход.

Вокруг них было еще немало людей, пропущенных крепостным заказником, но эти, по своей бесцветности, не останавливали на себе особенного внимания.

Глава двадцать восьмая

Часто вращавшийся по сторонам Гиезий заметил мое желание поближе полюбоваться его дедушкой и показал глазами, что может потесниться и дать мне место возле себя.

У штабеля стоял опрокинутый известковый ящик, по которому я мог подняться на такую высоту, что Гиезий подал мне свою руку и поставил меня с собою рядом.

Малафей Пимыч не обратил на наше размещение никакого внимания: он был похож на матерого волка, который на утре вышел походить по насту; серые глаза его горели диким, фанатическим огнем, но сам он не шевелился. Он устремил взоры на мост, который отсюда виден был как на ладони, и не смаргивал отсюда ни на мгновение. Но я забыл и мост, и Днепр, «где *вся Русь* крестилась», и даже всю церемонию, которая должна сейчас начаться: всем моим чувством овладел один Пимыч. Несмотря на свой чудной убор, он был не только поразительно и вдохновительно красив, но, если только простительно немного святотатственное слово, он был в своем роде божествен, и притом характерно божествен. Это не Юпитер и не Лаокоон, не Улисс и не Вейнемейнен, вообще не ге-

рой какой бы то ни было саги, а это стоял олицетворенный *символ древнего благочестия*.

Если я должен его с кем-нибудь сравнить, что всегда имеет своего рода удобство для читателя, то я предпочел бы всему другому указать на известную картину, изображающую урок стрельбы из орудия, даваемый Петру Лефортом. Отрок Петр, горя восторгом, наводит пушечный прицел... Вся его огневая фигура выражает страстное, уносящее стремление. Лефорт в своем огромном парике тихо любуется царственным учеником. Несколько молодых русских лиц смотрят с сочувствием, но вместе и с недоумением. На них, однако, видно, что они желают царю «попасть в цель». Но тут есть фигура, которая в своем роде не менее образна, типична и характерна. Это седой старик в старорусском охабне с высоким воротом и в высокой собольей шапке. Он один из всех не на ногах, а *сидит* – и сидит крепко; в правой руке он держит костыль, а левую оперся в ногу и смотрит на упражнения царя вкось, через свой локоть. В его глазах нет ненависти к Петру, но чем удачнее делает юноша то, за что взялся, тем решительнее символический старец не встанет с места. Зато, если Петр не попадет и отвернется от Лефорта, тогда... старичок встанет, скажет: «плюнь на них, батюшка: они все дураки», и, опираясь на свой старый костыль, уведет его, «своего прирощенного»,

домой – мыться в бане и молиться московским угодникам, «одолевшим и новгородских и владимирских».

Этот старик, по мысли художника, представляет собою на картине *старую Русь*, и Малафей Пимыч теперь на живой картине киевского торжества изображал то же самое. Момент, когда перед нами является Пимыч, в его сознании имел то же историческое значение. Старик, бог весть почему, ждал в этот день какого-то великого события, которое сделает поворот во всем.

Такие торжественные настроения без удобопонятных причин нередко являются у аскетов, подобных Пимычу, когда они, сидя в спертой задухе своих промозглых закут, начинают считать себя центром внимания творца вселенной.

Глава двадцать девятая

Могучая мысль, вызвавшая Малахню, побудила его явиться суетному миру во всеоружии всей его изуверной святости и глупости. Сообразно обстоятельствам он так приубрался, что от него даже на всем просторе открытого нагорного воздуха струился запах ладана и кипариса, а когда ветерок раскрывал его законный охабень с звериной опушкой, то внизу виден был новый мухояровый «рабский азымчик» и во всю грудь через шею висевшая нить крупных деревянных шаров. Связка, по обыкновению, кончалась у пупа большим восьмиконечным крестом из красноватого рога.

Стоял он, как сказано, точно изваяние – совершенно неподвижно, и так же неподвижен был его взгляд, устремленный на мост, только желто-белые усы его изредка шевелились; очевидно, от истомы и жажды он овлажал свои засохшие уста.

– С шестого часа тут стоим, – шепнул мне Гиезий.

– Зачем так рано?

– Дедушка еще раньше хотел, никак стерпети не могли до утра. Все говорил: опоздаем, пропустим – царь раньше выедет на мост, потому этакое дело надо на тщо сделать.

– Да какое такое дело? О чем вы это толкуете?

Гиезий промолчал и покосил в сторону дедушки глазами: дескать, нельзя говорить.

Вместо ответа он, вздохнув, молвил:

– Булычку бы надо сбегать купить.

– За чем же дело стало? сбегайте.

– Рассердится. Три дня уже так говейно живем. Сам-то даже и капли все дни не принимал. Тоже ведь и государю это нелегко будет. Зато как ноне при всех едиными устнами тропарь за царя запоем, тогда и есть будем.

– Отчего же ныне едиными «устнами» запоете?

Гиезий скосил глаза на старца и, закрыв ладонью рот, стал шептать мне на ухо:

– Государь через мост пешо пойдет...

– Ну!

– Только ведь до середины реки идти будет прямо.

– Ну и что же такое? Что же дальше?

– А тут где крещебная струя от Владимира князя пошла, он тут станет.

– Так что же из этого?

– Тут он свое исповедание объявит.

– Какое исповедание? Разве неизвестно его исповедание?

– Да, то известное-то известно, а нам он покажет истинное.

Я и теперь еще ничего въявь не понял, но чувство-

вал уже, что в них дедушкою внушены какие-то чрезвычайные надежды, которым, очевидно, никак невозможно сбыться. И все это сейчас же или даже сию минуту придет к концу, потому что в это самое мгновение открытие началось.

Глава тридцатая

По мосту между шпалерами пехоты тронулась артиллерия. Пушки, отчищенные с неумолимою тщательностью, которою отличалось тогдашнее время, так ярко блестели на солнце, что надо было зажмуриться; потом двигалось еще что-то (теперь хорошенько не помню), и, наконец, вдруг выдался просторный интервал, и в нем на свободном просвете показалась довольно большая и блестящая группа. Здесь всё были лица, в изобилии украшенные крестами и лентами, и впереди всех их шел сам император Николай. По его специально военной походке его можно было узнать очень издали: голова прямо, грудь вперед, шаг маршевой, крупный и с наддачею, левая рука пригнута и держит пальцем за пуговицей мундира, а правая или указывает что-нибудь повелительным жестом, или тихо, мерным движением обозначает такт, соответственно шагу ноги.

И теперь государь шел эту же самую своею отчетливою военною походкою, мерно, но так скоро подаваясь вперед, что многие из следовавших за ним в свите едва поспевали за ним впритруску. Когда старенький генерал с оперением на голове бежит и оперение это прыгает, выходит забавно: точно как будто

его кто встряхивает и из него что-то сыпется.

Шествие направлялось от городского гористого берега киевского к пологому черниговскому, где тогда тотчас же у окончания моста были «виньолевские постройки»: дома, службы и прочее. Гораздо далее была слободка, а потом известный «броварской лес», который тогда еще не был вырублен и разворован, а в нем еще охотились на кабанов и на коз.

В свите государя издали можно было узнать только старика Виньоля и одного его, необыкновенно красивого, сына, и то потому, что оба они были в своих ярких английских мундирах.

Разумеется, взоры всех устремились на эту группу: все следили за государем, как он перейдет мост и куда потом направится. Думали: «не зайдет ли к англичанам *спасибо* сказать», но вышло не так, как думали и гадали все, а так, как открыто было благочестивому старцу Малахии.

Да, как раз на самой середине моста государь вдруг остановился, и это моментально отозвалось в нашем пункте разнообразными, но сильными отражениями: во-первых, Гиезий, совсем позабыв себя, громко воскликнул: «Сбывается!», а во-вторых, всех нас всколебало чем-то вроде землетрясения; так сильно встряхнуло кирпичи, на которых мы стояли, что мы поневоле схватились друг за друга. Пожелав найти этому объ-

яснение, я оглянулся и увидел, что это пал на колени старец Малафей Пимыч...

С этой поры я уже не знал, куда глядеть, где ловить более замечательное: там ли, на обширном мосту, или тут у нас, на сорном задворке. Взор и внимание поневоле двоились и рвались то туда, то сюда.

Между тем государь, остановясь «против крещебной струи», которую старец проводил по самой середине Днепра, повернулся на минуту лицом к городу, а потом взял правое плечо вперед и пошел с середины моста к перилам верхней стороны. Тут у нас опять произошло свое действие; Малахия крикнул:

– Гляди!

А Гиезий подхватил:

– Видим, дедушка, видим!

Государь пошел с середины влево, то есть к той стороне, откуда идет Днепр и где волны его встречают упор ледорезов, то есть со стороны Подола. Вероятно, он захотел здесь взглянуть на то, как выведены эти ледорезы и в каком отношении находятся они к главному течению воды.

Государя в этом отклонении от прямого хода к перилам моста сопровождал Виньоль и еще кто-то, один или два человека из свиты. Теперь я этого в точности вспомнить не могу и о сю пору изумляюсь, как я еще мог тогда наблюдать, что происходило и тут и там.

Впрочем, с того мгновения, как государь остановился на середине моста, «против крещебной струи», – там я видел очень мало. Помню только один момент, как публика, стоявшая за войсками у перил, увидя подходившего государя, смешалась и жалась вместо того, чтобы расступиться и открыть вид на воду. Государь подошел и сам собственною рукою раздвинул двух человек, как бы приклеившихся к перилам.

Эти два человека оба были мои знакомые, очень скромные дворяне, но с этого события они вдруг получили всеобщий интерес, так как по городу пролетела весть, что государь их не только тронул рукою, но и что-то, сказал им. Об этом будет ниже. С того мгновения, как государь отстранил двух оторопевших дворян и стал лицом к открытой реке, внимание мое уже не разрывалось надвое, а все было охвачено Пимычем.

Первое, что отвлекло меня от торжественной сцены на мосту, – было падение вниз какого-то черного предмета. Точно будто черный Фаустов пудель вырвался из-под кирпичей, на которых мы стояли, и быстро запрыгал огромными скачками книзу.

Если это был зверь, то он, очевидно, кого-то преследовал или от кого-то удирал. Разобрать этого я не мог, как черный предмет скатился вниз и совершенно неожиданно нырнул и исчез где-то под берегом. Но отрок Гиезий был глазастее меня и воскликнул:

– Ай, пропала дедушкина шляпа!

Я посмотрел на Пимыча и увидел, что он стоит на коленях и с непокрытою головою. Он буквально был вне себя: «огонь горел в его очах, и шерсть на нем щетиной зрилась». Правая рука его с крепко стиснутым двуперстным крестом была прямо поднята вверх над головою, и он кричал (да, не говорил, а во всю мочь, громко кричал):

– Так, батюшка, так! Вот этак вот, родненький, совершай! Сложи, как надо, два пальчика! Дай всей земле одно небесное исповедание.

И в это время, как он кричал, горячие слезы обильными ручьями лились по его покрытым седым мохом щекам и прятались в бороду... Волнение старца было так сильно, что он не выстоял на ногах, голос его оборвался, он зашатался и рухнул на лицо свое и замер... Можно бы подумать, что он даже умер, но тому мешала его правая рука, которую он все-таки выправил, поднял кверху и все махал ею государю двуперстным сложением... Бедняк, очевидно, опасался, чтобы государь не ошибся, как надо показать «небесное исповедание».

Я не могу передать, как это выходило трогательно!.. Во всю мою жизнь после этого я не видал серьезного и сильного духом человека в положении более трагическом, восторженном и в то же время жалком.

Я был до глубины души потрясен душевным напряжением этого алкателя единыя веры и не мог себе представить, как он выйдет из своего затруднения. Одно спасение, думалось: государь от нас так далеко, что нет возможности увидеть, двумя или тремя перстами он перекрестится, и, стало быть, дедушку Пимыча можно будет обмануть, можно будет пустить ему «ложь во спасение». Но я мелко и недостойно понимал о высоком старце: он так окинул прозорливым оком ума своего всю вселенную, что не могло быть никого, кто бы мог обмануть его в деле веры.

И вот наступил, наконец, миг, решительный и жесточайший миг.

Шествие на мосту, вероятно, кончилось, вокруг нас почувствовалось какое-то нервное движение, люди как бы хотели переменять места и, наконец, зашумели: значит, кончено. Стали расходиться.

Гиезий позвал два раза: «Дедушка! дедушка!»

У Пимыча шевельнулась спина, и он стал приподниматься. Гиезий подхватил его под руки.

Глава тридцать первая

Старец поднимался медленно и тяжело, как поднимается осенью коченеющий шмель, с тем чтобы переползти немножко и околеть.

Гиезий изнемогал, вспирая старика вверх за оба локтя.

Я захотел ему помочь, и мы взялись один за одну руку, а другой за другую и поставили старца на колеблющиеся ноги.

Он дрожал и имел вид человека смертельно раненого в самое сердце. Рот у него был широко открыт, глаза в остолбенении и с тусклым остеклением.

Столь недавний живой фанатический блеск их исчез без следа.

Гиезий если не понял, то почувствовал положение старца и с робким участием сказал:

– Пойдем домой, дедушка!

Малахия не отвечал. Медленно, тяжелым, сердитым взглядом повел он по небу, вздохнул, словно после сна, и остановил взор на Гиезий.

Тот еще с большим участием произнес:

– Довольно, дедушка; нечего ждать, пойдем: государь уже познаменовался.

Но при этом слове старика всего словно прожгло, и

он вдруг отвердел и закричал:

– Врешь, анафема! Врешь, не знаменовался государь двумя персты. Вижу я, еще не в постыжении остаются отступники никонианы. И за то, что ты солгал, господь будет бить тебя по устам.

С этим он замахнулся и наотмашь так сильно ударил Гиезия по лицу, что уста отрока в то же мгновение оросились кровью.

Кто-то вздумал было за него заступиться и заговорил: «как это можно?» – но Гиезий попросил участливого человека их оставить.

– Мы свои, – сказал он, – это мой дедушка, – и начал бережно сводить перестоявшегося старца с кирпича под руки.

Глава тридцать вторая

Малахии было видение, мечта, фантазия, назовите как хотите, что государь станет среди моста «лицом против крещебной струи» и перед всеми людьми перекрестится древним двуперстием.

А тогда, разумеется, настанет для Малахии и иже с ним торжество, а митрополитам, и епископам, и всему чину церковному со всеми нечестивыми никониянами – посрамление до черноты лиц их. А тех, кои не покорятся, «господь рукою верных своих будет бить по устам», и все они окровавятся, как Гиезий. «Старая вера побьет новую». Вот чего желал и о чем, может быть, всю жизнь свою молился опасный немоляк за власти.

Но не сбылось по его вере и упованию, и погибли вмиг все его радости. Старец был посрамлен.

Я помню и никогда не забуду, как он шел. Это была грустная картина: тяжело и медленно передвигал он как будто не свои остарелые ноги по мягкой пыли Никольской улицы. Руки его были опущены и растопырены; смотрел он беспомощно и даже повиновался Гиезию, который одною рукою обтирал кровь на своем лице, а другою подвигал старца ладонью в спину и, плача о нем, умолял:

– Иди же, мой дедушка, Христа ради, иди... Ты без шляпы... на тебя все смеяться будут.

Старец понял это слово и прохрипел:

– Пусть смеются.

Это было последний раз, что я видел Малахию, но зато он удостоил меня вспомнить. На другой день по отъезде государя из Киева старец присылал ко мне своего отрока с просьбою сходить «к боярам» и узнать: «что царь двум господиям на мосту молвил, коих своими руками развел».

– Дедушка, – говорил Гиезий, – сомневаются насчет того: кия словеса рек государь. Нет ли чего от нас утаенного?

Я мог послать старцу ответ самый полный, без всякого утаения. Два господина, остолбеневшие у перил на том месте, где захотел взглянуть на Днепр император Николай Павлович, как я сказал, были мне известны. Это были звенигородские помещики, братья Протопоповы. Они мне даже приходились в отдаленном свойстве по тетке Наталье Ивановне Алферьевой, которая была замужем за Михаилом Протопоповым. А потому мы в тот же день узнали, что такое сказал им государь. Он отстранил их рукою и проговорил только два слова:

– Пошли прочь!

Впрочем, и в кружке знакомых все интересовались,

что было сказано, и вечером в этот день в квартире Протопоповых на Бульваре перебивало множество знакомых, и все приступали к виновнику события с расспросами.

– Правда ли, что с вами государь разговаривал?

– Да-с, разговаривал, – отвечал Протопопов.

– А о чем разговор был?

Протопопов с удивительной терпеливостью и точностью начинал излагать все по порядку: где они стояли, и как государь к ним подошел, «раздвинул» их и сказал: «Пошли прочь».

– Ну и вы отошли?

– Как же – сию же минуту отошли.

Все находили, что братья поступили именно так, как следовало, и с этим, конечно, всякий должен согласиться, но ни к старой, ни к новой вере это нимало не относилось, и чтобы не дать повода к каким-нибудь толкованиям, я просто сказал Гиезию, что государь с «господиями» ничего не говорил.

Гиезий вздохнул и молвил:

– Плохо наше дело.

– Чем и отчего плохо? – любопытствовал я.

– Да, видите... дедушке и всем нам уж очень хочется тропарь петь, а невозможно!..

Среди бесчисленных и пошлых клевет, которым я долговременно подвергался в литературе за мою

неспособность и нехотение рабствовать презренному и отвратительному деспотизму партий, меня сурово укоряли также за то, что я не разделял неосновательных мнений Афанасья Прокофьевича Щапова, который о ту пору прослыл в Петербурге историком и, вращаясь среди неповинных в знаниях церковной истории литераторов, вещал о *политических* задачах, которые скрытно содержит будто наш русский раскол. Щапов стоял горой за то, что раскол имеет политические задачи, и благоуспешно уверил в этом Герцена, который потом уже не умел разобрать представившихся ему Ив. Ив. Шебаева и бывшего староверского архиерея, умного и очень ловкого человека Пафнутия. Я тогда напечатал письмо о «людях древнего благочестия», где старался снять с несчастных староверов вредный и глупый поклеп на них в революционерстве. Меня за это ужасно порицали. Писали, что я дела не знаю и умышленно его извращаю, что меня растлило в этом отношении вредное влияние Павла Ив. Мельникова (Печерского), что я даже просто «подкуплен правительством». Дошло до того, что петербургскому профессору Ив. Ф. Нильскому печатно поставили в непростительную вину: как он смел где-то ссылаться на мои наблюдения над нравами раскола и давать словам моим веру... А, – увы и ах! – вышло, что я правду говорил: раскольникам до полити-

ки дела нет, и «тропарь» они не поют не за политику, которую хотели навязать им представители «крайней левой фракции». Г-н Нильский давал писателям «левой фракции» отповедь, где говорил что-то в пользу моих наблюдений. В самом же деле, хороши они или дурны, но они есть *наблюдения* того, что существовало и было, а не выдумка, не тенденциозное фантазерство фракционистов, которым чуть не удалось оклеветать добрых и спокойных людей. Твердое и неизменное убеждение, что русский раскол не имеет противоправительственных «политических» идей, получено мною не из книг и даже не от Павла Ив. Мельникова (знания которого я, конечно, высоко ценю), а я пришел к этому убеждению прямо путем личных наблюдений, которым верю более, чем тенденциозным натяжкам Щапова и всяким иным ухищрениям теоретиков «крайней левой фракции», которые ныне «предложились в сердцах своих» и заскакали на правый фланг крайнее самого правофлангового...

Верю им нынче столько же, сколько верил тогда...

Во всяком случае то, что я рассказал здесь о старце Малахии, было для меня едва ли не первым уроком в изучении характера не сочиненного, а живого раскольника. Я не могу, да и не обязан забыть, как этому суровому «немоляку за имя царево» хотелось «попеть тропаря» и вся остановка была только за тем,

чтобы император «двумя персты» перекрестился. А тогда бы они позапечатлели всех *не* – раскольников в том самом роде, как старец запечатлел Гиезьку, и горячее всех, пожалуй, приложили бы свои благочестивые руки к «крайней левой фракции».

Вот и вся раскольничья политика. А между тем было время, когда требовалось иметь не малую отвагу, чтобы решиться дать приют в доме такому опасному сектанту, как старец Малахия... И это смешное и слепое время было не очень давно, а между тем оно уже так хорошо позабыто, что теперь «крайняя правая фракция» дружится, чтобы Волга-матушка вспять побежала, а они бы могли начать лгать сначала. Раки, которые «перешепчутся», приходят в «пустотел», а люди, которые хотят пятиться, как раки, придут к пустомыслию.

Глава тридцать третья

Отрока Гиезия я видел еще один раз в жизни. Это было много лет спустя в Курске, вскоре после постройки киевской железной дороги.

Я ехал в Киев повидаться с родными. Поезда ходили тогда еще не совсем аккуратно, и в Курске приходилась довольно долгая остановка. Я когда-то ездил из Орла в Курск, и теперь мне хотелось посмотреть на этот город, где сидят «мои-то-те куряне, ведомые кмети», которые до того доцивилизовались, что потеряли целую роццу.

Я прошел через вокзал, чтобы с заднего крыльца посмотреть на собор и на прочее, что можно разглядеть отсюда.

Дело было утром, погода прекрасная. Курск в таком раннем освещении очень весело смотрит с своих горок, из-за своей сонной Тускари. Он напоминает собою Киев, разумеется, в миниатюре и en laid.⁴ Но только теперь, в ту минуту, когда я хотел любоваться, весь вид, или, лучше сказать, все поле зрения застлалось какими-то во множестве летающими и без толку мечущимися в воздухе безголовыми

⁴ В ухудшенном виде (франц.).

птичками... Престранное видение в иезекиилевском жанре: на одной какой-то точке бьют фонтаном и носятся какими-то незаконченными, трепетными взмахами в воздухе одни крылья; они описывают какие-то незаконченные круги и зигзаги, и вдруг падают, упадут, встрепенутся, и опять взлетят снова, и опять посередине подъема ослабеют, и снова упадут в пыль...

Это что-то как будто апокалипсическое.

В довершение сходства характера, тут были и «жены»; они подбирают обезглавленных пташек и суют их себе куда-то в недра, или, попросту говоря, за пазухи. Там тепло.

Заинтересовало меня: что это такое!

Вот с одной, пронесшейся над моею головою, безголовой пташки что-то капнуло... Тяжелое... точно она на меня зерно гороху уронила, и притом попало это мне прямо на руку...

Это была кровь, и притом совершенно свежая, даже теплая.

Что за странность?

Оглядываюсь – на противоположной стороне площадки, так же как и я, глазают на безголовых летунов человек шесть городских извозчиков и несколько ребяташек...

Вот одна безголовая пташка со всего размаха шлепнулась о железную крышу какой-то надворной

постройки.

Летела – казалось, птичка, а упала – словно стаяла.

Осталось только самое маленькое пятнышко, которое надо было с усилием не потерять из глаз – до того стало оно ничтожно.

Зато теперь можно было рассмотреть, что это такое.

Я опустил руку в дорожную сумку, где у меня был маленький бинокль, и только что стал наводить его на крышу, как кто-то серым рукавом закрыл мне «поле зрения».

У меня в Курске не могло быть знакомых, которые бы имели право допустить такую короткую фамильярность, но прежде чем я успел отнять от глаз бинокль, серая завеса уже снялась, и я увидел ворону, которая уносила в клюве обезглавленную пташку.

Послышался хохот, свист; в ворону с добычей, без вреда для них, полетели щепы и палки, и потом опять пошел фонтаном взлет обезглавленных пташек.

Я захотел видеть источник этого необычайного явления, и оно объяснилось: тут же за углом стояла низкая крестьянская телега, запряженная заморенною лохматою лошаденкою. Лошадь ела сенцо, которое было привязано к запрягу ее оглобли; а на телеге стоял большой лубочный короб, по верху которого затянута нитяная сетка. Над коробом, окорячив его нога-

ми, упертыми в тележные рядки, сидел рослый повар в белых панталонах, в белой куртке и в белом колпаке, а перед ним на земле стоял средних лет торговый крестьянин и держал в руках большое решето, в которое повар что-то сбрасывал, точно как будто орешки.

Прежде опустит руку в короб, потом вынет ее точно чем-то обросшую, встряхнет ею, и сей же момент всюду по воздуху полетят безголовые птички; а он сбросит в решето горсточку орешков. И все так далее.

Спросил, – что это делают? – и получил короткое объяснение:

– Перепелок рвут.

– Как, – говорю, – странно?

– Отчего странно? – отвечает продавец, – это у нас всегда так. Они теперь жирные; как заберешь их в руку, между пальчиками по головешке, и встряхнешь, у них сейчас все шейки милым делом и оборвутся. Полетает без головки – из нее кровочка скапит, и скус тоньше. А по головешкам, кои в решете сбросаны, считать очень способно. Сколько головешек, за столько штук и плата.

«Ах, вы, – думаю, – „ведомые кмети“! С таким ли способным народом не спрятать без следов монастырскую рощу!»

Но мне интереснее всего был сам продавец, ибо – коротко сказать – это был не кто иной, как оный дав-

ний отрок Гиезий. Он обородател и постарел, но вид имел очень болезненный.

Глава тридцать четвертая

Как только я назвал себя, Гиезий узнал меня сразу и подал свою уваленную птичьим пухом руку. А между тем и перепелиная казнь была кончена; повар соскочил на землю и пошел к бочке с водою мыть руки, а мы с старым знакомцем отправились пить чай. Сели уютненько, решето с птичьими головками под стол спрятали и разговорились.

Гиезий сообщил мне, что он давно отбыл годы обетованного отрочества и уже «живет со второю хозяйкою», то есть женат на второй жене, имеет детей, а живет промыслом – торгует то косами и серпами, то пенькою и пшеном, иногда же, между делом, и живнотию.

Спрашиваю:

– Счастливо ли живете?

– Ничего бы, – отвечает, – если бы не рак.

– Какой рак?

– А как же, – говорит, – ведь у меня рак в желудке; я скоро умру.

– Да почему вы знаете, что у вас рак?

– Много докторов видели, все одно сказали: рак. Да я и сам вижу. Почти никакой пищи принять не могу, от всего извергает.

– Чем же вы лечитесь?

– Прежде лечился, а ныне бросил, один морковный сок натошак пью. Все равно пользы никакой быть не может.

– Отчего вы так печально думаете?

– Помилуйте, разве я дитя, что не понимаю. Тридцать ведь, сударь, лет и три года этакое тиранство я соблюдал при дедушке Малахии! Ведь это вспомнать страшно становится. Он говел в летех своих заматерелых, а я одно и такое же мучение с ним претерпевал в цветущей моей младости.

– И кроме того он вас, помнится, очень бил.

– Да, разумеется, «началил», да это ничего, без того и невозможно. А вот голод – это ужасно. Бывало, в госпожин пост и оскребки из деревянной чашки все со щепой переешь и, что в земле случаем ногами втоптанно, везде выковыряешь да проглотишь, а теперь вот через это староверское злое безумие и умирай без времени, а детей пусти по миру.

– Вы, – говорю, – пост называете безумием?

– Да-с. А что такое? Впрочем, не осудите, с досады иной раз, как о ребятишках вздумаешь, очень что-нибудь скажешь. Детей жалко.

– А как теперь ваши религиозные убеждения?

Он махнул рукою.

– Тропарь по-старому не поете?

Гиезий улыбнулся и отвечал:

– Что вспомнили! – пел, да уже и позабыл.

– Как позабыли?

– Ну, господи мой, ведь я же вам говорю, какая у меня страшная боль в животе. Рак! Я теперь даже не токмо что среду или пяток, а даже и великий пост не могу никакой говейности соблюдать, потому меня от всего постного сейчас вытошнит. Сплошь теперь, как молокан, мясное и зачищаю, точно барин. При верной церкви уже это нельзя, я и примазался...

– К единоверческой?

– Нет, чего! Там тоже еще есть жизни правила, я к простой, к греко-российской.

– Значит, даже тремя перстами креститесь?

– Все равно. Да и какое уже больному человеку крещение. Почитай и о молитве забыл. Только бы пожить для ребят хочется. Для того и пристал к церковной вере, что можно жить слабже.

– А прочие ваши собратия?

– Они тогда, как в Киеве дедушку схоронили, сейчас с соседями тропарь петь замотались, да так на тропаре и повисли. Нравится им, чтоб «победы и одоления», да и отчего не петь? – заключил он, – если у кого силы живота постоянные, то ведь можно как угодно верить; но с таким желудком, как мой, какая уж тут вера! Тут одно искушение!

С тем мы и расстались.

Обетованный отрок, не читая энциклопедистов и других проклятых писателей, своим умом дошел до теории Дидро и поставил веру в зависимость от физиологии.

Епископ Амвросий Ключарев в своих публичных лекциях, читанных в Москве, напрасно порешил, что писателям «лучше бы не родиться». Тот, кто призвал всякую тварь к жизни, конечно, лучше почтенного архипастыря знал, кому лучше родиться, а кому не родиться, но случай с Гнезием не показывает ли, что простого человека иногда удаляют от веры не писатели, которых простой народ еще не знает и не читает, а те, кто «возлагает на человеки бремена тяжкие и неудобноносимые». Но мы смиренно верим, что в большом хозяйстве владыки вселенной даже и этот ассортимент людей пока еще на что-то нужен.

Глава тридцать пятая

Теперь еще хочется упомянуть об одном киевском событии, которое прекрасно и трогательно само по себе и в котором вырисовалась одна странная личность с очень сложным характером. Я хочу сказать о священнике Евфимии Ботвиновском, которого все в Киеве знали просто под именем «попа Ефима», или даже «Юхвима».

Усопший епископ рижский Филарет Филаретов, в бытность его ректором духовной академии в Киеве, 28 декабря 1873 года писал мне: «спрашиваете о Евфиме, – Евфим, друг наш, умре 19 сентября. Оставил семейство из шести душ, трех женских и трех мужеских. Но, видно, Евфим при слабостях своих имел в себе много доброго. При его погребении было большое стечение народа, провожавшего его с *большим плачем*. Дети остались на чужом дворе, без гроша и без куска хлеба; но добрыми людьми они обеспечены теперь так, что едва ли бы и при отце могли иметь то, что устроила для них попечительность людская».

С тех пор, когда мне случалось быть в Киеве, я никогда и ни от кого не мог получить никаких известий о детях отца Евфима; но что всего страннее, и о нем самом память как будто совершенно исчезла, а ес-

ли начнешь усиленно будить ее, то услышишь разве только что-то о его «слабостях». В письме своем преосвященный Филарет говорит: «не дивитесь сему – банковое направление все заело. В Киеве ничем не интересуются, кроме *карт* и *денег*».

Не знаю, совершенно ли это так, но думается, что довольно близко к истине.

Чтобы не вызывать недомолвками ложных толкований, лучше сказать, что «слабости» о. Евфима составляли просто *кутежи*, которые тогда были в большой моде в Киеве. Отец Евфим оказался большим консерватором и переносил эту моду немножко дольше, чем было можно. Отец Евфим любил хорошее вино, компанию и охоту. Он был лучший бильярдный игрок *после Курдюмова* и отлично стрелял; притом он, по слабости своего характера, не мог воздержаться от удовольствия поохотиться, когда попадал в круг друзей из дворян. Тут о. Евфим переодевался в егерский костюм, хорошо приспособленный к тому, чтобы спрятать его «гриву», и «полевал», по преимуществу с гончими. Нрава Юхвим был веселого, даже детски шаловливого и увлекающегося до крайностей, иногда непозволительных; но это был такой человек, каких рождается немного и которых грешно и стыдно забывать в одно десятилетие.

Каков Юхвим был как священник – этого я разби-

рать не стану, да и думаю, что это известно одному богу, которому служил он, как мог и как умел. Внешним образом священнодействовать Юхвим был большой мастер, но «леноват», и потому служил редко – больше содержал у себя для служения каких-то «приблудных батюшек», которые всегда проживали у него же в доме. Отец Юхвим прекрасно читал и иногда, читая великопостные каноны, неудержимо плакал, а потом сам над собою шутил, говоря:

– Стілько я, ледачий піп, нагрішив, що бог вже змиловався надо мною и дав мені слезы, щоб плакати діл моих горько. Не можу служити, не плачучи.

Разберите и рассудите хоть по этому, чту это был за человек *по отношению к вере*? По моему мнению, он был человек богопочтительный, но его кипучая, художественная и общительная натура, при уме живом, но крайне легком и несерьезном, постоянно увлекала его то туда, то сюда, так что он мог бы и совершенно извертеться, если бы не было одного магнита, который направлял его блуждания к определенной точке. Магнитом этим, действовавшим на Юхвима с страшною, всеодолевающею *органическою* силою, была его громадная, прирожденная *любовь к добру и сострадание*.

Когда я зазнал отца Евфима, он был очень юным священником маленькой деревянной церковки Иоан-

на Златоуста против нынешней старокиевской части. Приход у него был самый беднейший, и отцу Евфиму совершенно нечем было бы питаться, если бы семье его господь не послал «врана».

Этот «питающий вран» был *разучившийся грамоте* дьячок Константин, или Котин, длинный, худой, с сломанным и согнутым на сторону носом, за что и прозывался «Ломоносовым».

Он сам о себе говаривал:

– Я вже часто не здужаю, бо став старый; але що маю подіяти, як робити треба.

«Треба» была именно потому, что Ломоносов имел «на своем воспитании» молодую, но быстро нарастающую семью своего молодого и совершенно беззаботного священника.

Дьячок Котин служил при его отце, Егоре Ботвиновском, знал Евфима дитятею, а потом студентом академии, и теперь, видя его крайнюю беспечность обо всех домашних нуждах, принял дом священника «на свое воспитание».

Труд Ломоносова состоял в том, что все летнее время, пока Киев посещается богомольцами, или, по произношению Котина, «богомулами», он вставал до зари, садился у церковной оградочки с деревянным ящичком с прорезкою в крышке и «стерег богомулов».

Дело это очень заботное и требовало немалой со-

образительности и остроты разума, а также смелости и такта, ибо, собственно говоря, Ломоносов «воспитывал семейство» на счет других приходов, и преимущественно на счет духовенства церковей Десятинной, Андреевской и всех вкупе святынь Подола.

Константин отпирал церковь, зажигал лампадочку и садился у дверей на маленькой скамеечке; перед собою он ставил медную чашку с водою и кропило, рядом ящичек, или «карнавку», а в руки брал шерстяной пагленок. Он занимался надвязыванием чулок.

– Бо духовному лицу треба бути в трудех бденных.

Как большинство обстоятельных и сильно озабоченных людей, Котин был порядочный резонер и уважал декорум и благопристойность.

«Богомул» (в собирательном смысле) идет по Киеву определенным путем, как сельдь у берегов Шотландии, так что прежде «напоклоняется усім святым печерским, потім того до Варвары, а потім Макарию софійському, а потім вже геть просто *мимо Ивана* до Андрея и Десятинного и на Подол».

Маршрут этот освящен веками и до такой степени традиционен, что его никто и не думал бы изменять. Церковь Иоанна Златоуста, или, в просторечии, кратко «Иван», была все равно что пункт водораздела, откуда «богомул» принимает наклонное направление «*мимо Ивана*».

К «Ивану» заходить было не принято, потому что Иван сам по себе ничем не блестел, хотя и отворял радушно свои двери с самых спозаранок. Но нужда, изощряющая таланты, сделала ум Котина столь острым, что он из этого мимоходного положения своего храма извлекал сугубую выгоду. Он сидел здесь на водоразделе течения и «перелавливал богомулов», так что они не могли попадать к святыням Десятинной и Подола, пока Котин их «трохи не вытрусит». Делал он это с превеликою простотою, тактом и с такою отвагою, которою даже сам хвалился.

– Тиі богомулы, що у лавру до святих поприходили, – говорив он, – тих я до себе затягти не можу, не про те, що мій храм такий малесенькій, а про те, що лавра на таким пути, що її скрізь видно. Од них вже нехай лаврикові торгують. А що до подольських, або до Десятинного, то сіи вже нехай собі пальци поссуть, як я им дам що уторгувати и необібраних богомулів спу-щу им.

Он «обирав» богомулов вот каким образом: имея подле себя «карнавку», Котин, чуть завидит или слышит двигающихся тяжелыми ногами «богомудов», начинал «трясти грош» в ящичке и приговаривать:

– Богомули! богомули! Куда це вы? Жертвуйте, жертвуйте до церковці Ивана Золотоустого!

И чуть мужички приостанавливались, чтобы до-

стать и положить по грошу, Котин вдруг опутывал их ласкою. То он спрашивал: «звіткля се вы?», то «як у вас сей год житечко зародило?», то предложит иному «ужить табаки», то есть понюхать из его тавлинки, а затем и прямо звал в церковь.

– Идуть же, идуть до храму святого... усходьте... я вам одну таку святыньку покажу, що ніде її не побачите.

Мужички просились:

– Мы, выбачайте, на Подол йдемо, та до князя Владимира.

Но Котин уже не выпускал «богомула».

– Ну та що там таке у святого Владимира? – начал он с неодолимою смелостию ученого критика. – Бог значи що там есть, чи чого нема. Він собі був ничего, добрый князь; але, як усі чоловіки, мав жінку, да ще не единую. Заходьте до мене, я вам свячену штучку покажу, що святив той митрополит Евгений, що під софійским під полом лежить... Евгений, то, бачите, був ений (Котин почему-то не говорил *гений*)

А во время такого убедительного разговора он уже волок мужика или бабу, которая ему казалась влиятельнее прочих в группе, за руку и вводил всех в церковь и подводил их к столу, где опять была другая чаша с водой, крест, кропило и блюдо, а сам шел в алтарь и выносил оттуда старенький парчовый воздух и

начинал всех обильно кропить водою и отирать этим перепачканным воздухом, приговаривая:

– Боже благослови, Боже благослови!.. Умыхся еси, отерся еси... Вот так: умыхся и отерся... И сей умыхся... Як тебя звать?

«Богомул» отвечает: «Петро» или «Михал».

– Ну вот и добре – и Петро умыхся, отерся... То наш ений Евгений сей воздух святив... цілуйте его, християне, собі на здоровье... души во спасение... во очищение очес... костей укріпление...

И потом вдруг приглашал прилечь отдохнуть на травке около церкви или же идти «впрост – до батюшки, до господы», то есть на двор к отцу Евфиму, который был тут же рядом.

Котину почти ежедневно удавалось заманить нескольких «богомудов» на батюшкин двор, где им давали огурцов, квасу и хлеба и место под сараем, а они «жертвовали», кто что может.

Выходило это так, что и «богомудам» было безобидно и «дома» хозяину выгодно. Каждый день был «свежий грош», а на другое утро «богомуды шли опустошени», и Котин их сам напутствовал:

– Идіть теперички, християне, куди собі хочете, – хоть и до святого Владимира.

Перехожая пошлина с них у Ивана была уже взята. Таков был простодушный, но усердный печальник о

семье беспечального отца Евфима в первое время; но потом, когда Евфима перевели на место усопшего брата его Петра в Троицкую церковь, его начали знать более видные люди и стали доброхотствовать его семье, о которой сам Евфим всегда заботился мало.

– Наш батюшка, – говорил Котин, – завжди в росході, бо лго люди дуже люблять.

Это была и правда. Ни семейная радость, ни горе не обходилось без «Юхвима». Ему давали «за руки» спорные деньги, его выбирали душеприказчиком, и он все *чужие дела* исполнял превосходно. Но о своих не заботился нимало и довел это до того, что «сам себя изнищил».

Вот событие, которым он одно время удивил Киев и дал многим хороший повод оклеветать его за добро самыми черными клеветами.

Глава тридцать шестая

Был в Киеве уездный казначей Осип Семенович Туский, которого привез с собою из Житомира председатель казенной палаты Ключарев. Мы этого чиновника знали мало, а отец Евфим *нисколько*. Вдруг при одной поверке казначейства новым председателем Кобылиным оказался прочет в казенных суммах, кажется, около двадцати тысяч рублей, а может быть и несколько меньше. Казначей был известен своею честностью и аккуратностью. Как образовался этот прочет – я думаю, никто наверно не знает, потому что дело было замято; но ранее того семье казначея угрожала гибель. Об этом много говорили и очень сожалели маленьких детей казначея.

Дошло это дело до Евфима и ужасно его тронуло. Он задумался, потом вдруг заплакал и воскликнул:

- Тут надо помочь!
- Как же помочь? надо заплатить деньги.
- Да, конечно, надо заплатить.
- А кто их заплатит?
- А вот попробуем.

Отец Евфим велел «запречь игумена» (так называл он своего карого коня, купленного у какого-то игумена) и поехал к Кобылину с просьбою поддержать дело в

секрете два-три дня, пока он «попробует».

Председателю такое предложение, разумеется, было во всех отношениях выгодно, и он согласился ожидать, а Евфим пошел гонять своего «игумена». Объездил он всех друзей и приятелей и у всех, у кого только мог, просил пособить – «спасти семейство». Собрал он немало, помнится, будто тысяч около четырех, что-то дал и Кобылий; но недоставало все-таки много. Не помню теперь, сколько именно, но много что-то недоставало, кажется тысяч двенадцать или даже более.

У нас были советы, и решено было «собранное сберечь для семьи», а казначея предоставить его участи. Но предобрейшему Евфиму это не нравилось.

– Что там за участь детям без отца! – проговорил он, и на другой же день *взнес все деньги*, сколько их следовало.

Откуда же он их взял?

Он *разорил свое собственное семейство*: он заложил дом свой и дом тещи своей, вдовы протоиерея Лободовского, надавал векселей и сколотил сумму, чтобы выручить человека, которого, опять повторяю, *он не знал*, а узнал только о постигшем его бедствии...

Рассудительным или безрассудным кому покажется этот поступок, но во всяком случае он столь ве-

ликодушен, что о нем стоит вспомнить, и если слова епископа Филарета справедливы, что дети Ботвиновского призрены, то поневоле приходится повторить с псалмопевцем: «Не видех праведника оставлена, ниже семени его просяща хлеба».

Другого такого поступка, совершенного с полнейшей простотою сверх сил и по одному порыву великодушия, я не видал ни от кого, и когда при мне говорят о пресловутой «поповской жадности», я всегда вспоминаю, что самый, до безрассудности, бескорыстный человек, какого я видел, – это *был поп*.

Поступок Евфима не только не был оценен, но даже был осмеян и послужил поводом к разнообразным клеветам, имевшим дурное влияние на его расположение и положение.

С этих пор он начал снова захудевать, и все в его делах пошло в расстройство: дом его был продан, долг теще его тяготил и мучил; он переехал к своей, перенесенной на Новое Строение, Троицкой церкви и вдобавок овдовел, а во вдовстве такой человек, как Евфим, был совершенно невозможен.

Жена его была прекрасная и даже очень миленькая женщина, веселого и доброго нрава, терпеливая, прощающая и тоже беззаботная. Лучшей пары о. Евфиму и на заказ нельзя было подобрать, но когда в делах их пошел упадок и она стала прихварывать, ей ста-

ло скучно, что мужа никогда почти не было дома. Она умерла как-то особенно тихо и грустно, и это обстоятельство вызвало в о. Евфиме еще один необыкновенный порыв в свойственном ему малорассудительном, но весьма оригинальном роде. Мало удосуживаясь видеть жену свою при ее жизни, он *не мог* расстаться с нею с мертвою, и это побудило его решиться на один крайне рискованный поступок, еще раз говорящий о его причудливой натуре.

Глава тридцать седьмая

Троицкая церковь, к которой перешел о. Евфим после смерти своего брата, находилась в Старом Киеве, против здания присутственных мест, где ныне начинается сквер от стороны Софийского собора. Церковь эта была маленькая, деревянная и вдобавок ветхая, как и церковь Иоанна Златоуста, находившаяся по другую сторону присутственных мест, и с постройкою этих последних ее решено было перенести на Новое Строение, где, конечно, надо было строить церковь вновь, сохранивши название прежней. О. Евфим сам распоряжался постройкою церкви и осуществил при этом некоторые свои фантазии. Так, например, в бытность его в Петербурге он мне рассказывал, что устроил где-то в боковой части алтаря маленькую «комору под землю», – чтобы там летом, в жары, хорошо было от мух отдыхать.

Я не видел этой «коморы» и не знаю, как она была устроена, но знаю несомненно, что она есть и что в ней скрывается теперь ни для кого уже не проницаемая тайна.

– Где схоронена покойная Елена Семеновна? – спросил я о. Евфима, рассказывавшего мне тяжесть своего вдового положения.

– А у меня под церковью, – отвечал он.

Я удивился.

– Как, – говорю, – под церковью? Как же вы это могли выхлопотать? Кто вам разрешил?

– Ну вот, – говорит, – «разрешил»! Что я за дурак, чтобы стал об этом кого-нибудь спрашивать? Разумеется, никто бы мне этого не разрешил. А я так, чтобы она, моя голубонька, со мною не расставалась, – *я сам ее закопал под полом в коморе* и хожу туда и плачу над нею.

Это мне казалось невероятным, и я без стеснения сказал о. Евфиму, что ему не верю, но он забожился и рассказал историю погребения покойницы под церковью в подробностях и с такою обстоятельностью, что основание к недоверию исчезло.

По словам о. Евфима, как только Елена Семеновна скончалась, он и два преданные ему друга (а у него их было много) разобрали в нижней «коморе» пол и сейчас же стали *своими руками* копать могилу. К отпеванию покойной в церкви – могила была готова. Приготовлялась ли тоже, как следовало, могила на кладбище, – я не спросил. Затем покойную отпели в большом собрании духовенства и, кажется, в предстоянии покойного Филарета Филаретова, который тогда был еще архимандритом и ректором Киевской академии. По отпевании и запечатлении гро-

ба вынос был отложен до завтра, будто за неготовностью могильного склепа. Затем, когда отпевавшее духовенство удалилось, о. Евфим с преданными ему двумя друзьями (которых он называл) пришли ночью в церковь и похоронили покойницу в могиле, выкопанной в коморе под алтарем. (Один из друзей-гробкопателей был знаменитый в свое время в Киеве уголовный следователь, чиновник особых поручений генерал-губернатора, Андрей Иванович Друкарт, впоследствии вице-губернатор в Седлеце, где и скончался.) Потом пол опять застлали, и след погребения исчез навсегда, «до радостного утра».⁵

Покойный епископ Филарет Филаретов, кажется, знал об этом. По крайней мере, когда я его спрашивал, где погребена Елена Семеновна, – он, улыбаясь, махал рукою и отвечал:

– Бог его знает, где он ее похоронил.

⁵ Собранные мною по поводу предложенного рассказа сведения подтвердили вполне его достоверность: никто из людей, знавших супругов Ботвиновских, не помнит факта провода на кладбище тела умершей жены о. Евфима, а помнят только факт совершенного над нею торжественного отпевания и предложенной затем изобильной поминальной трапезы (прим. Лескова).

Глава тридцать восьмая

Как же относились к такому священнику люди?

Моралисты и фарисеи его порицали, но простецы и «мытари» любили «предоброго Евфима» и, как писал мне преосвященный Филарет, «проводжали его с большим плачем».

Не каждого так проводят даже и из тех, кои «посягли все книги кожаны» и соблюли все посты и «субботы».

И как было не плакать о таком простяке, который являл собою живое воплощение добра! Конечно, он не то, что пастор Оберлин; но он наш, простой русский поп, человек, может быть, и безалаберный, и грешный, но всепрощающий и бескорыстнейший. А много ли таких добрых людей на свете?

А что думало о нем начальство?

Кажется, неодинаково. О. Евфим служил при трех митрополитах. Митрополит Исидор Никольский был мало в Киеве и едва ли успел кого узнать. Преемник его Арсений Москвин *не* благоволил к Ботвиновскому, но покойный добрейший старик Филарет Амфитеатров его очень любил и жалел и на все наветы о Ботвиновском говорил:

– Все, чай, пустяки... Он добрый.

Раз, однако, и он призывал Евфима по какой-то жалобе или какому-то слуху, о существовании коего, впрочем, на митрополичьем разбирательстве ничего обстоятельно не выяснилось.

О разбирательстве этом рассказывали следующее: когда Филарету наговорили что-то особенное об излишней «светскости» Ботвиновского, митрополит произвел такой суд:

– Ты Ба твине вско й? – спросил он обвиняемого.

– Бо твино вски й, – отвечал о. Евфим.

– Что-о-о?

– Я Бо твино вски й.

Владыка сердито стукнул по столу ладонью и крикнул:

– Врешь!.. Ба твине вско й!

Евфим молчал.

– Что-о-о? – спросил владыка. – Чего молчишь? повинись!

Тот подумал, – в чем ему повиниться? и благопокорно произнес:

– Я Ба твине вско й.

Митрополит успокоился, с доброго лица его радостно исчезла непривычная тень напускной строгости, и он протянул своим беззвучным баском:

– То-то и есть... Ба твине вско й!.. И хорошо, что повинился!.. Теперь иди к своему месту.

А «прогнав» таким образом «Ба твине вско го», он говорил наместнику лавры (тогда еще благочинному) о. Варлааму:

– Добрый мужичонко этот Батвиневской – очень добрый... И повинился... Скверно только, зачем он трубку из длинного чубука палит?

Инок отвечал, что он этого не знает, а добрый владыка разворковался:

– Это, смотри, его протопоп Крамарев обучил... Университетский! Скажи ему, чтобы он университетского наученья не смущал, чтобы из длинного чубука не курил.

Очевидно, что в доносе было что-то о курении. Отец Евфим и в этом *исправился*, – он стал курить папиросы.

К сему разве остается добавить, что Ботвиновский был очень видный собою мужчина и, по мнению знатоков, в молодости превосходно танцевал мазурку, и... искусства этого никогда не оставлял, но после некоторых случайностей танцевал «только на именинах» у прихожан, особенно его уважавших.

Мне думается, что такой непосредственный человек непременно должен иметь место среди киевских *антиков*, и даже, может быть, воспоминание о нем окажется самым симпатичным для киевлян, между которыми, вероятно, еще немало тех, что «шли, плача, за

его гробом».

Глава тридцать девятая

О киевских богатырях я знаю мало. Видоизменяясь от облика Ильи и Чурилы до фигуры Остапа Бульбы, к моему времени в Киеве они являлись в лицах того же приснопамятного Аскоченского, студента Кол—ова и торгового человека (приказчика купца Козловского) Ивана Филипповича Касселя (чистого, беспримесного хохла, наказанного за какой-то родительский грех иноземною кличкою).

О силе Аскоченского говорили много, приводя примеры, что будто ее иногда поневоле принимали в соображение бывший в его время ректором «русский Златоуст» Иннокентий Борисов и инспектор Иеремия. Достоверного в этом кажется то, что когда инспектор отобрал раз у студентов чубуки и снес их к Иннокентию, то Аскоченский, с его «непобедимую дерзостию», явился к Иннокентию *«требовать свою собственность»*. А когда Иннокентий назвал это нахальством и приказал наглецу «выйти вон», то Аскоченский взял «весь пук чубуков» и сразу все их переломил на колене.

Все остальное, что касается его легендарной силы, выражалось в таком роде: он все «ломал». Более всего он ломал, или, лучше сказать, гнул, за столами ме-

таллические ножи, ложки, вилки, а иногда подсвечники. Делал он это всегда сюрпризом для хозяев, но не всегда к их большому удовольствию.

О «непобедимых его дерзостях» рассказывалось тоже много, но над всем преобладало сообщение о «стычке его с профессором Серафимом» на лекции церковной истории.

Дело было так, что профессор после беспристрастно изложения фактов пришел научным путем к достоверному выводу, который изложил в следующих словах:

– Итак, мы ясно видели, что мать наша, святая православная церковь в России, приняв богоучрежденные постановления от апостолов, ныне управляется *самим духом святым*.

– В генеральском мундире! – отозвался с своей парты Аскоченский.

Профессор смутился и, как бы желая затушевать неуместное вмешательство студента, повторил:

– Самим духом святым.

Но Аскоченский снова не выдержал и еще громче произнес:

– Да, в генеральском мундире!

– Что ты под сим разумеешь? – спросил его Серафим.

– Не *что*, а *нечто*, – отвечал Аскоченский и пояс-

нил, что он разумеет военного обер-прокурора синода Н. Ал. Протасова.

Серафим пошел жаловаться к Иннокентию, но тот как-то спустил это мягко.

Последний факт «непобедимой дерзости» Аскоченского был не в его пользу. Это случилось тогда, когда в одно время сошлись на службе в Каменце Аскоченский, занимавший там место совестного судьи, и бывший его начальник по Воронежской семинарии Елпидифор, на эту пору архиепископ подольский.

Архиепископ Елпидифор был изрядно нетерпелив и вспыльчив, но в свою очередь он знал предерзостную натуру Аскоченского, когда тот учился в Воронежской семинарии. Однажды Елпидифор служил обедню в соборе, а Аскоченский стоял в алтаре (любимое дело ханжей, позволяющих себе нарушать церковное правило и стеснять собою служащее духовенство).

Во время литургии какой-то диакон или иподиакон что-то напутал, и вспыльчивый владыка сказал ему за это «дурака».

Тем дело и кончилось бы, но после обедни у епископа был пирог, и к пирогу явился Аскоченский, а во время одной паузы он ядовито предложил такой вопрос:

– Владыка святой! что должен петь клир, когда архиерей возглашает «дурак»?

– «Совестный судья», – отвечал спокойно епископ.

– А я думал: «и духови твоему», – отвечал «непобедимый в дерзости» Аскоченский, но вскоре потерял место совестного судьи и навсегда лишился службы.

Другой *богатырь*, Кол—ов, действительно обладал силою феноменальною и ночами ходил «переворачивать камни у Владимира». Идеал его был «снять крепостные ворота и отнести их на себе на Лысую гору», которой тогда еще не угрожал переход в собственность известного в России рода бояр Анненковых. Тогда там слетались простые киевские ведьмы. Но ворот Кол—ов не снял, а погиб иным образом.

Третий, самый веселый богатырь моего времени, был Иван Филиппович Кассель, имеющий даже двойную известность в русской армии. Во-первых, торгуя военными вещами, он обмундировал чуть ли не всех офицеров, переходивших в Крым через Киев, а во-вторых, он положил конец большой войне, не значащейся ни в каких хрониках, но тем не менее продолжительной и упорной.

Не знаю, с какого именно повода в Киеве установилась вражда не вражда, а традиционное предание о необходимости боевых отношений между студентами и вообще статскою молодежью с одной стороны и юнкерами – с другой. Особенно считалось необходимым «бить саперов», то есть юнкеров саперного училища.

Шло это с замечательным постоянством и заманчивостью, которая увлекала даже таких умных и прекрасных людей, как Андрей Иванович Друкарт, бывший в то время уже чиновником особых поручений при губернаторе Фундуклее.

С утра, бывало, сговариваются приходить в трактир к Кругу или к Бурхарду, где поджидались саперные юнкера, и там «их бить».

Ни за что ни про что, а так просто «бить». Но иногда для этого выезжали на дубу или пешком отправлялись «за мост» к Рязанову или на Подол, к Каткову, и там «бились».

Порою с обеих сторон были жертвы, то есть не убитые, но довольно сильно побитые, а война все упорствовала, не уставала и грозила быть такою же хроническою, как война кавказская. Но случилось, что в одной стычке юнкеров (сделавших вылазку из урочища Кожемяки) с статскою партией (спускавшеюся от церкви св. Андрея) находился Кассель. Будучи призван к участию в битве, Иван Филиппыч один положил на землю всех неприятелей, а потом заодно и всех своих союзников. В пылу битвы он не мог успокоиться, пока не увидел вокруг себя всех «полегшими». Это было так не по сердцу для обеих воюющих сторон, что с этим разом битвы прекратились.

Богатырей, прославленных силою, более уже не

было. Эти, кажется, были последние.

Глава сороковая

О *кладах* мне только известно в смысле литературном. Где-то и у кого-то в Киеве должен храниться один очень драгоценный и интересный литературный клад – это одно действительно меткое и остроумное сочинение В. И. Аскоченского, написанное в форме речи, произносимой кандидатом епископства при наречении его в архиереи. Речь новонарекаемого епископа, сочиненная Аскоченским, не только нимало не похожа на те речи, какие обыкновенно при этих важных случаях произносятся, но она им диаметрально противоположна по направлению и духу, хотя сводится к тем же результатам. В заправдашних речах кандидаты обыкновенно говорят о своих слабостях и недостатках – вообще сильно отпрашиваются от епископства, боясь, что не пронесут обязанностей этого сана, как следует. Потом едва только к концу, и то лишь полагаясь на всемогущую благодать Божию и на воспособляющую силу молитв предстоящих святителей, они «приемлют и ни что же вопреки глаголют». Но речь Аскоченского идет из иного настроения: его кандидат епископства, человек смелого ума и откровенной прямой натуры, напоминает «Племянника г-на Рамо». Он смотрит на жизнь весело и не видит ни-

какой надобности возводить на себя самообвинения в тяжких недостойнствах. Напротив, нарекаемый епископ Асоченского признается, что сан епископский ему издавна весьма нравится и очень ему приятен. Он рассказывает даже, какие меры и усилия он употребил для достижения своей цели – быть епископом. Потом говорит и о своих «недостойнствах», но опять по-своему: он не ограничивается общим поверхностным упоминанием, что у него есть «недостойнства», а откровенно припоминает их, как добрый христианин доброго времени, стоящий на открытой, всенародной исповеди. Кандидат доводит свою откровенность до того, что «недостойнства» его в самом деле как будто заставляют опасаться за его годность к епископскому служению, и за него становится и страшно и больно... Но вдруг живая душа исповедника делает быстрый взмах над миром и зрит оттуда с высот, что и другие, приявшие уже ярем епископства, были не только не достойнее его, но даже и после таковыми же остались. А он клянется, что когда ему на епископстве станет жить хорошо, то он, как умный человек, ни за что не станет искать никаких пустяков, не имеющих прямой цены для счастья, и «потому приемлет и ни что же вопреки глаголет».

Асоченский мне сам читал эту речь, замечательную как в литературном, так и в историческом отно-

шении, и читал он ее многим другим, пока об этом не узнал покойный митрополит московский Иннокентий Вениаминов. Он *запретил* Аскоченскому читать эту речь и давать ее списывать, а Виктор Ипатьич, часто прибегая к Иннокентию по делам своего изнемогавшего издания и другим личным нуждам, дал слово митрополиту запрет этот исполнить. В «Дневнике» Аскоченского, который я, по редакционной обязанности, *весь прочел* прежде приобретения его редакцией «Исторического вестника», *нет этой речи*. Это тем более удивительно, что в «Дневнике» записано множество выходов, гораздо менее удачных, и литературных шалостей, несравненно более непристойных и дерзких по отношению к предстоятелям церкви. Может быть, Аскоченский вырвал эти листы в угоду митрополиту, который, по словам Виктора Ипатьича, «просто позволил ему *обыскивать свой бумажник*». Во всяком случае этот литературный киевский клад⁶

⁶ Указывают еще другой клад, оставленный В. А. Аскоченским в Киеве и находящийся, вероятно, и теперь у кого-либо из его киевских знакомых. Это обширное его исследование о тогдашнем состоянии русских университетов, озаглавленное так: «Наши университеты». Ф. Г. Лебединцев читал эту толстую, листов в 70, рукопись, написанную в 1854 или 1855 году. В ней Аскоченский с беспощадною резкостью осуждает весь строй университетский и раскрывает недуги профессоров банковского направления. Рукопись наполнена массою самых неприглядных фактов, обличавших пустоту университетских чтений, грошовой либеральничества профессоров и поврежденность нравов студентов, и пр.,

очень интересен как для характеристики самого Аскоченского, так и в смысле определения прозорливости тех, которые чаяли видеть в Викторе Ипатьевиче защитника падающего авторитета своего сана, с дозволением иногда «*обыскивать их бумажники*».

и пр. Рукопись шибко ходила по рукам и произвела в ученом и административном мире бурю, кончившеюся тем, что бесшабашного автора, как неслужащего дворянина, посадили на две недели на гаупвахту при киевском ордонанс-гаузе. Рассказывали в ту пору, что когда Аскоченский был «приличным образом» доставлен к тогдашнему киевскому генерал-губернатору кн. Васильчикову, последний дал Аскоченскому прочесть ту статью из свода Законов, которая грозила ему чем-то вроде высылки «в места отдаленные». Аскоченский нимало не сробел: он прочел статью, положил книгу и улыбнулся.— Вас, стало, это забавляет? — спросил его добродушно князь Васильчиков. Аскоченский пожал плечами и ответил:— Не думаю, чтобы кого-нибудь забавляла возможность прогуляться в Сибирь. Мне смешно другое. Васильчиков не продолжал разговора и послал его под арест. В этой записке, по словам Лебединцева, было много умного, дельного и справедливого, так что автору было за что посидеть под арестом. Но где эти едва ли не самые лучшие произведения ума и пера Аскоченского? Неужто они пропали? (прим. Лескова).

Глава сорок первая

Затем еще «последнее сказание» – тоже касающееся киевских преданий и литературы.

Когда в «Русском вестнике» М. Н. Каткова был напечатан мой рассказ «Запечатленный ангел», то в некоторых периодических изданиях, при снисходительных похвалах моему маленькому литературному произведению, было сказано, что «в нем передано событие, случившееся при постройке киевского моста» (разумеется, *старого*). В рассказе идет дело об иконе, которую чиновники «запечатлели» и отобрали в монастырь, а староверы, которым та икона принадлежала, подменили ее копию во время служения пасхальной заутрени. Для этого один из староверов *прошел с одного берега реки на другой при бурном ледоходе по цепям*.

Всем показалось, что мною в этом рассказе описана киевская местность и «событие, случившееся тоже в Киеве». Так это и остается до сей поры.

Позволю себе ныне заметить, что первое совершенно справедливо, а второе – нет. Местность в «Запечатленном ангеле», как и во многих иных моих рассказах, действительно похожа на Киев, – что объясняется моими привычками к киевским картинам, но

такого происшествия, какое передано в рассказе, в Киеве никогда не происходило, то есть никакой иконы старовер не крал и по цепям через Днепр не переносил. А было действительно только следующее: однажды, когда цепи были уже натянуты, один калужский каменщик, по уполномочию от товарищей, сходил во время пасхальной заутрени с киевского берега на черниговский по цепям, но не за иконою, а за водкою, которая на той стороне Днепра продавалась тогда много дешевле. Налив бочонок водки, отважный ходок повесил его себе на шею и, имея в руках шест, который служил ему балансом, благополучно возвратился на киевский берег с своею корчемною ношею, которая и была здесь распита во славу св. Пасхи.

Отважный переход по цепям действительно послужил мне *темою* для изображения отчаянной русской удали, но цель действия и вообще вся история «Запечатленного ангела», конечно, иная, и она мною просто вымышлена.

20 декабря 1882 г. С.-Петербург.